

Странствия архиепископ Иоанн (Шаховской)

Вниманию читателя предлагаются путевые заметки проповедника, писателя, поэта, автора многочисленных религиозных трудов, епископа Православной Церкви в Америке, архиепископа Сан-Францисского и Западно-Американского Иоанна (Шаховского) (1902–1989). Книга адресована всем боголюбивым читателям.

Путь на север

Поезд-молния Берлин-Гамбург – два соединенных между собою вагона цилиндрической формы, – выйдя из предместий Берлина, начинает развивать скорость. 100... 120... 140... 150... Крупная стрелка вагонного циферблата, переходя эту цифру, застывает. В окне беспомощно мелькает летний немецкий пейзаж, благоустроенная многими трудами земля, небольшие домики, мгновенно вырастающие и мгновенно исчезающие городки, чистые платформы станций с мелькнувшими непрочтенными названиями. Солнечно и светло над землей. И она всё растворяется и растворяется в левой половине моего окна.

Несколько уединившись в сфере «незадерживающейся действительности», покинув прошлое, свободен от власти будущего, раскрываю свое маленькое евангелие... Не часто я его открываю среди своих ежедневных дел. Как остов жизни, оно сочетается с моими церковными службами и священническими молитвами, но в уединениях и среди всех дел я не часто раскрываю его. Не потому, чтобы не хотел его духовных сокровищ, но потому, что я хочу сочетать его со своею жизнью – не внешней памятью. Я хочу сочетать Слово с дыханием самой жизни. Не хочу «наизусть» знать евангельские выражения, но хочу напитывать сердце свое сокровенным смыслом Евангелия, и явные указания его претворять во все выражения своей жизни. По немощи своей, я как бы немного боюсь слишком «знать» Евангелие... Хочу скорее не знать его, а уметь.

То, что мне уже открыто в нем, и через него в жизни, как своей, так и окружающих меня, я хотел бы исполнить. «В оборот пустить» то, что знаю. И – не слишком увеличивать талант духовных знаний своих, не слишком забегать знанием – перед жизнью, но жизнь делать знание истинным и на фундаменте одного истинного знания (умения) строить следующий его этаж. Боюсь, иначе, развалить свою жизненную постройку.

Вот отчего не всегда я считаю себя достаточно вправе раскрыть Евангелие. Много, что я помню и «знаю» в нем, я еще не умею, не претворяю в жизнь мою, в жизнь других. И – боюсь проскользнуть по строкам Евангелия, как скольжу по строкам книг человеческих. Но когда раскрываю Евангелие, не «зачитываюсь» им, а словно только прикасаюсь к нему, как пчела к цветку: стараясь взять тонким жалом духовного разумения новую сладость его, питающую, укрепляющую и увеселяющую дух.

Еле уловимые шопоты Евангелия в сердце жизненнее самой жизни и потому всегда могут победить жизнь. Даже самая шумная жизнь всегда слабее их. Надо напитывать сердце Евангелием, но не перекармливать, не переобременять его. Переобременение всегда есть торжество отвлеченности.

И не раскрывая Евангелия, можно его – созерцать... Можно видеть, слышать отдельные строки его. Иногда одно лишь слово, или – один оттенок слова. Одним малейшим мерцанием евангельского света можно просветить хотя бы одну темную точку в своем сердце и приоткрыть дверь к новым словам, к содержанию их, еще ни разу не изнесенному в мир.

Кроме слов возможных в мире, но еще не сказанных, есть слова, которые никогда не будут сказаны на земле, которыми ничего нельзя выразить в мире этом, которыми не написано ничего и о которых ничего не написано. Эти слова порождаются от Евангелия, зажигаются от Христова Света и – горят в сердце, которое иногда само не знает, что в нем горят божественные слова, а иногда знает об этом, но – ничего не может об этом сказать. Здесь глубины жизни, начало созерцания.

До Гамбурга прочитываю главу 4-ую от Иоанна. Делаю несколько отметок около отдельных выражений, впервые остановивших мое внимание на данном их смысле. «Се творю всё новое»... Слово Божие обновляется в смысле своем, раскрывает всё. новые свои глубины и скрытые в них сокровища для нашего духа.

После, в пути, останавлиюсь на этих знаках...

II

Норвежский небольшой пароход “Kong Trygve” стоит немного потерянно у одной из бесчисленных пристаней. Пассажиров будет не много, больше – товаров. Проверяются паспорта, деньги и – мы отходим и идем долго устьем гавани, 4 часа. Потом, у широкого моря, сворачиваем направо в узкий канал. Им будем идти всю ночь, пока не выйдем к Киллю, где будет остановка на рассвете. Тянутся берега по правую и левую сторону “Kong Trygve”. Нам, восьмерым пассажирам третьего класса, накрывают уютный ужин в четырехместной каюте, где и моя койка. Трапезую с молодыми норвежцами. Милые люди и среди них два мальчика, – тихая семейная обстановка. Я сел на кончике стола с краю, чтобы не мешать их норвежской речи. Они говорят вполголоса, не желая беспокоить меня. На востоке и юге обычно, в подобных случаях, шумят и кричат.

Благословенны эти народы, уже сколько веков не поднимавшие меча своего на пролитие крови чело- века ради своего хлеба или своей славы. Какой-то отпечаток особого мира лежит на всех этих норвежцах, голландцах, датчанах... Даруй им, Господь, не обнажить меча своего – до последнего Твоего Суда! Сохрани их в тишине Твоей.

Мысль останавливается на этом... Теперь принято бранить «пацифизм» и смеяться над его утопичностью. Для защиты его иногда бывает нужна большая воинственность, чем в аргументировке самой воинственности.

И вполне можно понять людей, отталкивающихся от пацифизма, – такого, каким он предносится в идеях современного нам альтруизма «защиты прав человека». Этот пацифизм, действительно, мало что стоит и является лишь ложным маневром для успокаивания обремененной совести человечества. Такой пацифизм совсем даже не пацифизм; и, может быть, главный его грех – давать военной логике слишком легкую и обоснованную над собой победу. Этот гуманистический пацифизм безверного мышления, и к миру материалистического отношения, совсем, в сущности, не мирствование... и никогда таковым не будет.

Крылов гениально выразил основы ложного пацифизма в истории двух друзей: Полкана и Барбоса. Буквально точная картина дипломатических дружб народов. Даже в пацифизме крыловских «друзей» больше искренней непосредственности, чем в чисто материалистической, заранее обдуманной механике дипломатических равновесий.

Хладность и математичность расчета, сопряженная с бесстыдной неправдой наиболее высоких представителей народов, – вот что создает «блуждание среди призрачного». Все знают, что «уста говорят ложь и язык произносит неправду» (Ис. 59:3). И – однако – глаза, не моргая, смотрят прямо в другие – столь же неморгающие – глаза. Человек скован математикой «князя мира сего», и политика мировая ничем не отличается от «политики» атомов, то сцепляющихся между собой, то разъединяющихся в страшном химическом оттолкновении... И лишь поняв эту страшную зависимость человека от низших стихий, начинаешь понимать, что значит «власть тьмы» и власть того «князя», который грядет и «во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30).

Действительно, он и вся его стихия – и Христос Спаситель мира – два противоположных мира, таинственно ныне сопряженных в земном, испытательном для людей существовании.

«Пацифизм» вне-Божий есть не лучшая форма войны в мире. Нельзя не допустить, что настоящая война с ее траншеями и снарядами и штыками может быть более честным выражением жизни этого мира. Вот отчего война приемлется многими верующими и никто из святых «пацифистически» не отвергал ее. Сам Господь иной раз более благословлял этот узкий путь страданий от войны, и взаимное – вулканическое, почти бесстрастное – убиение людей, чем то состояние лицемерия и эгоизма, в котором заплесневело человечество. Буря оказывалась угоднее Богу, чем тина. И буря исчезнет лишь в метаистории, когда исчезнет и тина.

На двух больших темных крыльях летит человечество к своему концу: апокалиптическая буря (веяние которой во всех войнах) и апокалиптическая тина, страшная теплохладность и насекомообразность образа человеческого – весь эгоцентризм греха, ненависти, зависти, «мирной» корысти... «Пессимист» ли я? Это слово не подходит к тому, что я говорю. Я верую в силу Божию и знаю, что она победит всё. Но на путях ее побед столько же крови текущей, как и на путях рождения нового человека. В кровях выходит человек в мир. В кровях и болях роженицы – мира ветхого рождается новый мир.

Биение сердца этого нового мира есть дыхание любви и правды Христовой, веяние чистоты мира, сохраняющего среди всей тревоги своей, благоухание Божественных перст...

На пароходе времени много... есть время дать мысли тихий ход. На пароходе ослабляется напряженность человеческая, люди «отчалили» от мира. Прошлое – за горизонтом, будущего еще нет, а настоящего на

пароходе не бывает, для большинства, ибо нет забот. В них же человек слишком привык видеть всё свое настоящее.

Пассажиры ходят по пароходу маленькими стайками... Переходят от одного борта к другому, рассматривают новые берега. На лицах у всех тихое довольство. Ветер свежий, теплый, хороший. Не тревожащий глубин.

Утром проходим датские острова. За ночь выбрались в пролив и идем, вклиниваясь меж Данией и Швецией. Погода мягкая и тихая. Розоватая облачность почти не скрывает солнца. Я рад, что нет особенной «радиоактивности»; очевидно на верхней рубке нас жалеют и почти совершенно скрывают от нас те мелодии, которые неслышно разносятся по миру. Изредка лишь из какой-нибудь, вероятно, столицы принесется песнь.

Чайки выются за кормой. Замасленный кочегар появляется на корме, делает несколько вздохов чудного солнечного воздуха, и, словно в благодарность, бросает вверх несколько крошек хлеба – чайкам. На лице его мир, удовлетворение и такая прекрасная человеческая улыбка.

Замечаю, что на пароходе все довольны, все рады, и тому, что едут, и – что так тихо и чудно на море. Все этому рады, и еще чему-то в отдельности рад каждый. Завязались новые знакомства. Говорят, улыбаются, и – рады беседе. Завтра – на всю жизнь расстанутся, а сегодня – как близкие. Связаны друг с другом общим «отрешением от мира», общей легкостью, простором и солнцем, связаны больше, чем думают; больше, чем хотят.

На верхней палубе поместился сорокалетний немец со своей крошкой-дочуркой. Матери с ними нет. Немец трогательно возится с девочкой... Меня девочка боится вначале, но потом понемногу привыкает к моему необычному виду. Мы с ней даже вступаем в философский разговор. Она удивлена моей чернотой и как-то недоверчиво относится к ней. И борода и «шапочка» и одежда – всё на мне черное; а сам я, как будто, не страшный. «И у тебя есть черное», – говорю я ей в ободрение. Она внимательно поглядывает на свои руки. «Нет, у тебя не ручки черные, – говорю я ей, – а ноги твои в черных сапожках». Но она упорно рассматривает свои руки и снова показывает их мне. “Deine Hände sind nicht schwarz, – говорю я ей, – sie sind nur schmutzig”. Это последнее слово на нее производит впечатление. Потом она лепечет мне, что она живет внизу (пальчиком показывает на пол), а я живу наверху... (и она поднимает пальчик кверху, в небо). Я киваю ей и говорю, что, действительно, живу там, вверху. Духовные понятия недоступны малютке, но она очень верно

угадывает желаемую мною действительность. После, когда я отхожу, я слышу, как она таинственно спрашивает, склонившись к отцу: «Не Бог ли он?». Отец многозначительно качает головой.

Около 3 часов дня оставляем направо последнюю полоску земли: Зеландию.

Вечером, выйдя на палубу, смотрел на затухание маяка. Всякий маяк имеет свою «индивидуальность»: меру затухания. Не совсем точно, значит, выражение, что истина непрестанно и одинаково, «как маяк», светит человеку: земная реальность более точно отражает божественный закон, чем язык поэзии. Божественный свет не всегда одинаково светит нашему сердцу и разуму; бывают затухания и – большие возгорания этого света в нас, пред нами. Нашей свободе, как и кораблю, необходима лишь правильная ориентировка в пути, а не утешение светом... Когда придем в Гавань, тогда утешимся всеми огнями...

Возвратясь в каюту, где мирно сидели три моих спутника, люди под тридцать лет, и два, несомненно, с высшим образованием (один инженер), я начал разговаривать с одним, и, между прочим, спросил его, желая проверить свои вчерашние мысли: когда его страна – Норвегия – в последний раз вела войну? Мой вопрос застал норвежца врасплох, он подумал, наклонил голову, но, очевидно, ответ никак не приходил к нему. Он открыто и несколько виновато улыбнулся, и задал, по-норвежски, мой вопрос другому спутнику. Между ними несколько минут шел разговор: они выясняли, когда в последний раз их родина вела войну. Ответ мне был дан крайне неопределенный: по-видимому наполеоновские коалиции как-то всё же задели Норвегию 120 лет тому назад, и она как-то объединилась с Данией против своей соседки – Швеции... Было что-то «аркадическое» в моих спутниках.

Около 12 часов ночи наш пароход прошел огни Фридрихсхавена – северные огни Дании. Завтра к полудню должны придти в Осло, в столицу самого мирного, кажется, народа.

В Осло дни протекли быстро. Остановка там не была бесплодной. Лишь два раза в год имеют возможность православные люди здесь видеть своего пастыря, который всегда живет в Швеции, читая лекции в Упсальском университете. В последний раз он был к Страстной – Пасхальной Неделе. Службы у них происходят в лютеранской часовне, словно специально построенной для православных богослужений. Когда ставят иконостас, полное впечатление православного храма. Стены высокие, расписаны почти совсем православной живописью. На горнем месте фреска огромного распятия у подножия которого – Божия Мать и Св. Иоанн с нимбами... Колония православных – человек около ста – естественно единится вокруг прихода.

Радужно был встречен; тепло проводили меня третьего дня вечером. Молитвы и Таинства непреодолимо сближают. Который раз я это чувствую! А здесь еще пришлось беседу духовную провести после всенощной. Говорил о первичных основах жизни духа: о вере, молитве, духовном знании, законах совершенства. Конечно, о Едином Источнике всего: Господе Иисусе Христе, Спасителе не отвлеченном, не теоретическом, а – живом и очень близком... Были после беседы некоторые вопросы. Один человек, немолодой, видно, сердцем простой, стал говорить, что кто-то сильно его обидел, горько обманул, прямо-таки надругался над его человеческим лицом... После его почти исповеди личной, пред всею «церковью», один из членов совета церковного, после моего ответа, возмущенно выговорил этому человеку, что «личное» внес он в общее объективное... Мне показалась неверной такая ревность об «общем», что и высказал я ревнителю, разъяснив, что личный этот случай не «частный», и что мне очень ценна подобная откровенность и непосредственность, благодаря которой я смог более выпукло – «на примере» объяснить, из каких чувств – какой выход искать. В данном случае, обиженный и оскорбленный и униженный был глубоководным человеком, искренно, смиренно, обливаясь слезами, приносившим на следующий день покаяние. Но в нем был еще вкоренен очень общий грех христианского общества: недомысл о том, что заповеди Христовы нельзя исполнять наполовину. «Наполовину» этот человек был глубоким и смиренным христианином. Но, когда дело коснулось глубин души, явился остро ощущаемый злой личный враг – душа изнемогла. Изнемогла от обиды понесенной и – совсем, совсем невдомек ей, что нужно обиду-то

простить, а врага-то полюбить, вечного спасения и блага – за зло – ему пожелать. А что без этого – и христианин – не христианин. До всего этого не дошла душа! А ведь просто. Слишком сильный заряд антихристианства вокруг человека. Это и есть «мир», который Господь велит «не любить», чтобы любить всякого человека в его сокровенной сущности. Но у «мира» – свои законы и «правила жизненной игры». Он – не прощает, он мстит, либо – хуже еще – затаит злобу в преисподних глубинах сердца.

Нередко мне приходится изумляться, как «сыны света» – христиане – исповедующие свою веру во многих случаях, убежденные и твердые «верующие», доходя до какой-то черты, неизменно срываются и в своих, опять-таки убежденных чувствах, бывают «врагами Богу». Они и не подозревают, что сразу, в пылу одного лишь неверного чувства уже сделались врагами – не «врагам» своим, а Богу.

Это можно назвать частичной одержимостью человека.

Как бы моряки расценили лодку, которая во всех местах была бы совершенно цела и лишь в одном месте была бы продырявлена... Вряд ли кто-нибудь на ней выехал бы даже в пруд. А уже в море бескрайнее никто бы из здравых рассудком на ней не пустился. А множество христиан – и православных – показывая во всем послушание Богу, спотыкаются и падают, жестоко (и тем жестоко, что нечувствительно) расшибаясь о заповеди Нагорной Беседы. Даже почти только об одну: о любовь к врагам. Здесь неизменно прилетают черные птицы, и склевывают в душе христианина зерна жизни вечной, слова Спасителя. Словно заранее душа человека «решает не принимать» самых последних заповедей жизни вечной, оставаясь в каком-то эпикурейском или стоическом христианстве, в «христианстве Марка Аврелия»... Даже Лев Толстой в своем поверхностном морализме был радикальнее религиозного мещанства, берущего из Евангелия лишь то, что не противоречит общественным правилам, морально-обывательскому обиходу. Вот она – теплохладность, смешанная нередко с темными огнями страстей... Человек, «признавая» Господа Бога и Его Евангелие, но не следуя Им до конца, ты бываешь непоследователен.

Любовь к ненавидящим нас и молитва за обижающих нас – это основной «пробный камень» христианства.

Сейчас, в наши дни, множество русских людей открыто пребывают вне Церкви. С другой стороны, многие, кто не был в Церкви, вошли в Нее. Но не все, кто вошел, вошли истинно. Некоторые бессознательно вошли в силу одного своего протеста против безбожного коммунизма, поработившего родной народ. Для ряда верующих вера еще «докажется от

обратного», а не из прямого ... Преп. Иоанн Лествичник – великий психолог жизни – говорит, что иной раз люди больные приходят в больницу по каким-либо посторонним причинам, но, привлеченные добрым отношением врача, остаются там и – получают исцеление. Подобны этим бывают, по мысли Лествичника, монахи, не по призванию пошедшие в монастырь, но будучи уже в монастыре узнавшие подлинное монашество. Это может быть сказано и в отношении вообще Церкви. Уже несомненно благо, что люди подошли к Ней; хотя бы из внешних чувств своих, – по воспоминаниям ли детства, из сознания ли «патриотичности» веры православной, из отвращения ли к плоскому безбожию ярославских... Как бы то ни было, «грядущего»... даже не «ко Мне», а лишь «в Мою сторону» – «не изжену вон». Господь не изгонит этих верующих, но будет просвещать их, согревать, возводя от духовно-детского возраста к совершенству. И, если не воспротивится человек, Врач Небесный – в тьмы тем раз искуснейший всех врачей – возведет его к целостному здравью.

Но – нельзя закрывать глаза на присутствие в Церкви таких чад, кои не приемлют «твердую пищу» Духа, а нуждаются еще в молоке «душевности». Надо ревностно оберегать последние истины Царствия Божия от тех «опустошений», которые могут эти люди произвести в этих истинах – сами того не желая.

Печальнее, когда встречаешь священнослужителя, не устремленного к последней Правде Христовой.

Но как больно вообще встречать прекрасных по душе, алчущих Бога людей, горячо молящихся, тайно добро творящих, во всем мирных, добрых, светлых и – вдруг – загорающихся нечистым огнем страсти... Какая бы ни была страсть. Самая же страшная страсть, это – ненависть к личному или собирательному человеку.

Здесь начинает зиять страшное отверстие, чрез которое выгнанный злой дух вводит семерых, злейших себя...

За Литургией в Осло было много причастников. Двоих причащал на дому: восьмидесятилетнюю параличную старушку и средних лет женщину, скорченную ревматизмом. К вечеру один православный русский итальянец повез меня на своем автомобиле в окрестности, и на лесной горе, откуда видно всё Осло, мы пообедали с ним и его друзьями. После он свез меня в один дом, где собралось несколько человек и пришлось давать ответ одной взволнованной, мечущейся, ищущей истину и от истины еще отталкивающейся душе. Одна из присутствующих прекрасно говорила о необходимости своим опытом дознать приближение к истине чрез любовь ко всякому человеку (не только к святому). Чрез познание себя душа

познает, – говорил я, – Бога, и чрез Бога опять познает себя, и опять глубже должна познавать себя, чтобы к Богу еще больше устремляться... Мятущаяся душа, как очень многие, – имела ряд совершенно наивных, неверных представлений (прямо-таки детских) о Библии, о Лице Господа Иисуса Христа и т. д. Эти, поверхностные, вероятно, незаметно где-либо подхваченные представления заваливали своим мусором, песком своим вход к вере. Человек – вполне интеллигентный, но – какая беспомощность в основных вопросах духа и религии!.. Часто, старое образование, катехизическое, на всю жизнь отравляло человеку путь к пониманию Откровения.

Мятущиеся души слишком склонны видеть «сучок в глазе брата». Их надо отвращать всемерно от этого занятия. Они в этом видят предлоги к неверию и серьезное обоснование возможности не верить. Хотя они хотят верить, но вцепляются во все подобные основания к неверию... «Нет истинно верующих, живущих по вере!» «Такая-то церковная дама любит осуждать ближних; такая-то – это иногда делает, это совершает... Где же вера ее? А я не верую, а вот имею понятие о добре и стараюсь то-то и то-то делать доброго... Для чего же вера? Что она мне еще даст?»... Таковы вопросы не встающие, а крутящиеся в душе «мятущегося» человека, стыдливо ищущего, и в то же время вызывающе отталкивающего веру. Не надо укорять этих людей... Они почти все болезненно чутки и к своей неправде. Надо тихо и кротко – с добром – открыть несовершенство их критериев добра, устремить их вон из «буржуазности духовной» к горячности духа, вывести из атмосферы «Марии Ивановны» и «Екатерины Петровны», в чем-то и как-то прегрешающих, несмотря на энное количество свечей, ими поставленных. Надо дохнуть на человека иным воздухом, заставить его – невольно – вдохнуть и убедиться, что он сладок. А потом, сама душа, алчущая мира, будет сначала неуверенно, а потом всё более и более горячо вдыхать воздух Сладкого Небесного Царствия, воздух, который убьет всех микробов и, вкусивши которого, душа уже сама будет отвращаться от миазмической атмосферы своих же собственных, прошлых, душевных размышлений...

Из Осло поездом до Тронхейма. Ночь. Поезд, извивающийся среди скал, укачивает: впечатление морского путешествия. Утром на вокзале встречают меня русские молодожены. Помогают мне найти порт и в порту стоящий небольшой пароход, на котором должен я свершить почти пятидневное путешествие на крайний север.

IV

13 августа. Около 7 часов утра проходили 66 1/2° северной широты. Полярный круг...

Идем уже почти сутки. Вчера утром “Polarys” вышел из Тронхейма. Погода благоприятствует. Хотя облачно, но чувствуется, что солнце близко: оно проливается сквозь рыхлые, чуть сыроватые, нависшие по краям горизонта облака. Идем островами, заливами, проливами: фиордами. Почти непрерывной цепью тянутся аскетические скалы, разных форм и величин. Море – веками – глубоко, глубоко размыло каменную землю севера. Словно почувствовало, что мало нужна она бедному человеку. Берега, быстро проходящие, отшлифованы волною. Изредка мы пристаем к какому-либо мало обитаемому острову, берем почту и быстро снимаемся, звоня с капитанского мостика сигнальными звонками. За сутки я уже привык к пустынным островам фиордического океана. Иногда они напоминают видения Данта. Если бы высветлить их и сверху пролить палящее солнце, эти скалы были бы похожи на скалы Южной Македонии и Эллады. Но свет и небо, а также особая гранитная порода дают миру новый тип красоты мира Божьего в этой северной пустыне. Не солнце выжгло ее, но «роса очи ее выела», – тихие туманы и бурные штормы. Холодной лаской волна приласкала и омертвила любовью своей.

Почти нет растительности на этих берегах. Мы иногда совсем близко подходим к ним и идем около редкого кустарника, тощих трав и карликовых деревьев. Лишь в рыбацких поселках, бедных, но чистых – своей холодной чистотой севера, можно встретить – да и то редко – несколько плохо выросших деревьев да две-три грядки (вероятно, из привезенной земли), на которых, не знаю, что успевает вырасти в короткое северное лето.

Но, словно желая вознаградить человека за малое тепло кратких месяцев, небо посылает на землю свет, свет, какого нет на юге: светлые ночи. Пушкин в Петербурге, во время белых ночей, писал и читал «без лампы». Здесь ночи более чем белые, они – светлые, дневные. В столице Норвегии еще «белая» ночь. Здесь мы приближаемся к назаходимому свету. И невольно вспоминаются удивительные слова церковной песни:

Вскую мя отринул еси
От лица Твоего, Свете Незаходимый.

Эту песнь могут петь, особенно вживаясь в нее, люди крайнего севера. Длинная, бессолнечная, темная ночь. И за то – длящийся целую летнюю

пятидесятницу – «вечный день» с незаходящим солнцем.

Образ Солнца Правды – Христа сияет здесь на Севере солнце полунощное.

Без 10 минут 12 часов ночи. А солнце еще не зашло. Оно светлит вершины скал, и они лиловеют на светлом небе. Светло, как ясным днем, клонящимся к вечеру. Солнце приблизилось к закату, но – не ушло, а лишь ослабели его лучи, сделавшись еще более прекрасными и – уже доступными для взора... А в долинах и ущельях синееет воздух; а вода отсвечивает и белеет. Пустынные высокие скалы сменяются холмами островов. Пассажиры притихли, созерцают почти благоговейно свет полунощный, ночь, обратившуюся в вечер – утро. И вспоминаются великие слова Библии: «и был вечер, и было утро – день един».

Англичане едущие – в восторге. Они впились в солнце, сияющее теперь уже из-за дальнего и невысокого хребта гор... Еще утром мы с одним из них говорили о том, что мы, люди – «атомы», при всем величии Творца в природе. Теперь он меня ловит на палубе и шепчет: «мы – атомы!» Я понимаю... Опять поворачивает пароход, и с новой стороны прозрачно светло лиловеют новые цепи гор, и снег, лежащий в их впадинах и щелях – всё в той же прозрачной нежнейшей лиловости.

«У американцев нет такой чувствительности к красоте», – говорит англичанин. Он шокирован исчезновением с палубы американок, ушедших спать.

Мы – на 68 1/2 градусе, в фиордах. Заканчиваю писать это в 20 минут первого ночи, 14 июля.

Иоанн. Гл. 4. ст. 10: «Если бы ты знала дар Божий»...

Стоит пред Спасителем Богом-Воплощенным женщина-человек и видит лишь «человеческое», осязательное. Господь не пришел нарушить это «осязательное», но – исполнить его, в высшем опыте жизни человеческой. Женщина-самарянка у колодца – человек, не младенец. Человек знает, что такое вода мира, знает уже дар Божий, хотя и не возносит еще дар этот к рукам Божьим. «Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь?» Это еще человеческое: «Иаков дал»... Надо, чтобы человечество эту «иаковлю» воду вознесло к Богу, но для этого надо постичь глубину истины: эта «иаковлева» вода – не главная вода человека. Да и она не от Иакова, а дар Божий. Но есть другая, чистейшая, высочайшая вода заповедей Христовых, утоляющая пересохшую гортань человека в мире. Сухо в мире, материально, «пустынно» для духа, душно душе чистой. И вот ей дается укрепляющая и освежающая вода заповедей, руководств к жизни настоящей. Это –

великий дар Божий Если бы все люди знали этот дар, невидимую росу жизни, уже сошедшую на человечество. Но не все люди ее видят. Если бы увидели, как освежилась бы жизнь их. Мало кто видит и знает этот дар. Это – «вода» – для верующего – делается источником воды (ст. 14) не только текущей в вечность, но воспринимается как источник всех временных вод на земле, всех ценностей этого мира. Через это последнее духовное постижение основы жизни востекает человек к миру духов и научается возносить к Богу все свои земные ценности... «Твоя от Твоих Тебе приносяще!»...

День 14-го июля (3-й – плавания) – самый солнечный... Недаром солнце светило в полночь. Подходим к маленьким островкам и мысам, на краткое время останавливаемся и легко отваливаем. Скоро будет главный город норвежского севера: Тромзэ. Здесь лесистее островные холмы, и на скалах больше снегу. Чайки почти не охотятся за пароходом, а стайками плавают у берегов.

Неожиданно подошли и остановились около «цветущего» острова. Не знаю, чем объяснить его густую растительность: березки и еще какая-то порода. В зелени на холмах утопали домики. В солнце островок пустынный кажется райским по тишине своей. Нет пения птиц, нет цветов, нет людей; только солнце и тихая, особенно радостная зелень... А рядом лежащие острова снова бесплодны и безлесны. Скалы выше. Вершины их в морских расплывчатых облаках.

В Тромзэ посетил одного русского эмигранта, живущего там, женатого на норвежке. Он мне рассказал о русских на Шпицбергене.

15 июля полуночное солнце стояло над морем. К часу ночи, озаряемый его словно остановившимися, слепящими и чуть греющими лучами, я сошел в каюту.

Утром пробудился недалеко от Nordcap'a. Под скалой вились тучи чаек.словно рой мошек, поднимаясь, опускаясь и переливаясь в воздухе.

У самого Нордкапа стало качать. Посвежело море, заиграли барашки. Окаймленный свинцовым кольцом дальней облачности, слева открылся Северный Ледовитый океан – глухие глубины, черносиние волны.

Северная точка Европы. Не через эту ли скалу идет в Европу холод, охватывающий народы? После двух остановок погода тише, барашки кажется исчезают...

Стихи 16 и 17.

16: «Иисус говорит ей: пойдя, позови мужа твоего».

17: « ... Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа».

Испытание правды. Не простой человек была женщина, около которой

остановился Господь. Церковь ее называет Фотинией (Светланой) и причисляет к святым.

Какое удивительно – святое дело выпало этой женщине: исправить «ошибку» самого Воплощенного Творца! Господь испытывает внутренне человека, просвечивает насквозь не только всеведением Своим, но и утаиванием всеведения, ради обнаружения сокровенного содержания человеческого сердца...

Светлана – светло выдержала испытание. Омылась тем словом, которое ей сказал Господь, о воде, текущей в жизнь вечную. В правде своей испила этой воды.

Последние сутки в Ледовитом океане качало. Ветер был, по мнению познакомившегося со мною немецкого коммерсанта, бывшего военного моряка, баллов на 6. Это, конечно, не шторм, но – было свежо. Ветер дул «русский», по мнению того же немца – Норд-Нордост, с Новой Земли. К вечеру мы вошли в полосу темных облаков, нависших над океаном. «Это очень похоже на то, что идет с русской стороны», – добродушно шутил немец, указывая на темную нависшую массу, надвигающуюся на нас и на солнце. По западно-европейским морским наблюдениям, должен был быть шторм. Но в Северном Ледовитом океане иная природа. Качка почти не усилилась. После острова Vardö, где у меня была встреча с одной русской душой, мы повернули круто на юг, и стало несколько тише... В узкую бухту Киркенеса вошли совсем тихо на рассвете непрекращавшегося дня.

40 верст – автомобилем, по исключительно бедной лесной малосильной природе крайнего севера с его почти карликовыми, скрюченными березками, и – переезжаю на моторной лодке маленькое серебрящееся озеро. Svanek – граница Норвегии и Финляндии. На берегу маленького поселка запросто спрашивает на русском языке молодой человек в летней рубашке: есть ли у меня паспорт? Отвечаю, что имеется. Он просит его показать, берет с собой, говоря, что принесет в гостиничку, куда советует направиться ожидать автобуса на Печенгу. Через полчаса звонок в гостиничку по телефону, вызывает меня и спрашивает, какой я, собственно, подданный... Отвечаю, как могу, на этот в высшей степени затруднительный вопрос. Наконец, он понимает, и лобезно приносит мне паспорт. Можно ехать на Печенгу.

V

Печенгский монастырь основан преп. Трифоном Печенгским, апостолом и просветителем крайнего русского севера, страны лопарей, полукочующего народа Кольского полуострова. У Печенгской губы Северо-Ледовитого океана в самой западной части Кольского полуострова – Мурманского края – преп. Трифон поселился и своими молитвами, трудами и терпением, по милости Божией, основал благовестническую обитель, заложив, как некогда преп. Сергей Радонежский, малую деревянную церковку во Имя Святой Живоначальной Троицы. Благовестником Единого Бога, во Св. Троице славимого, и явился преп. Трифон среди лопарей, народа тихого, мягкого, чрезвычайно бедного, живущего на крайнем севере по сию пору. Рыболовство и оленеводство – единственный промысел бедных лопарей. Их тихий нрав оказался доброй почвой для семян Слова Божия. Оставлены были шаманы и волхвы, народ воспринял семя духовной культуры Христовой Церкви. Преп. Трифон весь предан своему делу, ездил к Царю Иоанну Васильевичу и добился от него помощи лопарям, которая была дарована в особой грамоте.

Не только духовно, но и вещественно служил преп. Трифон лопарям. Отклонив от себя игуменство в основанной им обители, поручив это специально монастырское дело другому – первому игумену Печенгской обители, преп. Трифон отдает себя всего своим детям во Христе – лопарям. Высокого роста, немного согбенный и мало имеющий волос на голове, кроткий лицом и душой, преп. Трифон в чем-то напоминает старца средней Руси, преп. Серафима. Сам он, хотя и происходил из средне-русских мест, но явился и до сих пор пребывает старцем крайнего русского севера наряду с преподобными Зосимой, Савватием и Германом Соловецкими чудотворцами, Сергием и Германом Валаамскими и Арсением Коневским.

Вскоре после кончины преп. Трифона, обитель его подверглась разрушению от шведских воинов, иноки ее были умерщвлены. Мощи двоих из них, мученически тогда убиенных в церкви, во время богослужения, покоятся рядом со св. мощами преп. Трифона... Обитель была сожжена и разорена.

Восстановил ее соловецкий монах Ионафан, ставший и ее первым архимандритом. В 1890 году он прибыл по послушанию с несколькими соловецкими братьями, и – началось восстановление древней обители. Была построена церковь, в основание которой легла древняя церковка,

ныне составляющая главный алтарь.

Архимандрит Ионафан много потрудился для восстановления благовестнического монастыря. Нелегко был труд современных нам просветителей крайнего севера. Но они вновь зажгли лампаду преподобного Трифона, во славу Святой и Живоначальной Троицы.

Вместе с монашествующими поселился на Печенге удивительный человек, во многом, если не во всем, напоминающий С. В. Рачинского: Дмитрий Алексеевич

Проташинский. Обеспеченный помещик юга России, Бессарабской губернии, имеющий двойное высшее образование, он, после очень короткого периода семейной жизни, уходит на крайний Север, в подвижническую обстановку, и посвящает себя до конца своих дней педагогической работе в монастырской школе, открытой для местного населения. Идейно служа миссионерским целям обители, Проташинский умирает на своем посту, имея 50 лет от роду. Его духовный друг и сотрудник (так же, как он, оставшийся мирянином при монастыре), Дмитрий Андреевич Онуфриев, живет в обители по сию пору. Кроме занятий в монастырской канцелярии, он – свидетель и очевидец всей полувековой монастырской истории, доводит хронику ее до наших дней.

Все случающееся и сколько-нибудь имеющее отношение к обители старец Дмитрий Андреевич бережно записывает на листы пожелтевшей бумаги дореволюционного русского образца. Не мало накопилось у него различной ценности материала.

Самая северная в мире православная обитель... Долгая зима и непроглядная «вечная» ночь зимою над Печенгой. Некоторые, даже привычные монахи в это время больны бессонницей и сердцебиениями. В монастыре мне показывали несколько грядок картофеля; не всегда он вызревает на Печенге. Лук вызревает лишь в стеблях, а кроме этого вызревает трава тимофеевка. Более нет ничего на Печенге. В лесах необъятных водится лакомое блюдо монахов, лопарей и медведей: морошка, да немного синики. Полевые недолгие летние цветочки здесь особенно трогательны и прекрасны. Трава же это – хлеб здешнего края. Траву прямо-таки не косят, а жнут под самый корень особыми маленькими полукосами-полусерпами. Травой живут, как лесом. Траву продают, она идет скоту. Оленей больше нет в монастыре, а их было при Ионафане 1.000 голов. «Нет смысла их держать. За год на 1.000 – 200 оленей волки поедают зимою», – говорит настоятель Обители кроткий иеромонах Паисий, показывая мне все свое хозяйство. 4–5 лошадей справляют монастырскую тягу, можно обойтись без оленей, даже зимой.

«А разве нельзя устереечь от волков-то?» – спрашиваю я. «Да как устережешь, – отвечает он, разбредутся по лесу, зима, метет метель, вот волки и дерут».

Братия на Печенге небольшая; немногим более 20 монахов. Почти нет молодых. Старые монахи – из северных наших губерний: Олонецкой, Вологодской (Вологодские, как про себя говорят), Архангельской... Родной север их приучил к суровому, чужому северу Печенги, которая должна была им стать последней их земной родиной. Они бодры духом, эти старцы. Те, что помалодушнее (а, может быть, и болезненнее) ушли раньше, переселившись «южнее» на Соловки и на «южный» Валаам. Те, что на Соловки перешли, где они теперь? Оставшиеся на Печенге теплят лампаду православного севера, озаряя великую северную ночь незримым сиянием, более прекрасным, чем северное. А для нас – православных, рассеянных по всему свету, радость и утешение знать, что тундры Ледовитого океана оглашаются и в наше время православными молитвами...

В пятницу, после вечерней службы, мы с настоятелем углубились в лес, туда, где возвышается Спасительная гора. На ней спасался преп. Трифон не только от страстей своих, но и от злых людей, главным образом колдунов местных, справедливо видевших в преп. Трифоне великую для своей веры опасность. Со Спасительной горы, на вершине которой водружен Крест, видны три страны: Норвегия, Финляндия и Россия. 20–30 верстная полоса пустынных, без единого селения, лесов отделяет монастырь от мурманских тундр.

Полярный лес удивляет своей тишиной. Совсем нет обычного во всех лесах пения или хотя бы чириканья птиц. Но птицы есть. Они только в это время (конец июля) сидят в гнездах, высиживая птенцов... Дни были исключительно великолепны. Словно вознаграждал Господь северный мир за долгую беспросветную зиму. Незаходящее солнце днем и ночью сияло среди ясного, чистого голубого неба. Ясные, тонкие облачка оплывали горизонт. Вообще, меня поразило воздух, удивила его «Видимость» – ясность, прозрачность. Это третье, что удивило меня после великой тишины безветренных лесов и вечно сияющего солнца. Ночь ото дня отличалась лишь – довольно сильным – падением температуры. О. Паисий опасался, как бы мороз не прохватил его цветущий картофель. Днем в тени тоже была ощутительна прохлада, хотя солнце грело по-летнему.

В лесу мы набрали на заводь, которую можно было совсем справедливо назвать «тихой». Она была совсем, совершенно, до конца тиха. На берегу оказалась приваленной маленькая лодочка. Мы сели в нее

и оттолкнулись... Какая тишина! Только маленькие мошки, да несколько комариков, и то не писком, а только одним видом своего мелькания нарушали эту тишину. Мы плыли, изредка всплескивая веслами. На повороте поднялись две крупные дикие утки, кряквы. Уточка, похожая на нашего средне-русского чирка, совсем близко от нас уплывала вперед. «Хитрая, хитрая, – сказал о. Паисий, – она нас отводит от своих птенцов». Маленькая уточка сделала несколько взмахов над заводью и сейчас же села. «Хитрая», – повторил о. Паисий.

Вернулись мы солнечной ночью.

Лето, 1937.

Над Америкой

Из каюты капитана передают: «Август 23. Время: 9.30 пополудни. Высота: 8.000 футов. Скорость 225 миль в час. Направление: Юго-Юго-Восток»... Самолет пролетел уже Голландскую Гвиану и летит над Французской. Смертоносные берега ее покрыты тьмой. Луна ударяет в левое крыло самолета, но не может пробиться до земли, свет ее застывает где-то за пушистыми облаками, плывущими вниз...

В 2 часа дня поднялись мы с аэродрома Майкетии, приморского обрывистого берега близ столицы Венецуэлы. Через два часа обошли уже дельту Ориноко, к которой некогда подплывал Колумб, и, пролетев над ключевым английским островом Тринидад, свернули на юг. Курс взят на Белэм, атлантический порт у самой Амазонки и экватора.

Венецуэла уже далеко, бодрая, уже сильно взбудораженная цивилизацией, но еще детски-провинциальная страна. Есть старчески-провинциальные (Малая Азия), и есть детски-провинциальные страны, – Южная Америка, – простой быт, без древних памятников, исторических традиций и отягощенности мировыми проблемами. Есть тут какая-то свежесть, утерянная старым континентом; но подбирается сюда уже и финансовое опьянение, и техническая экзальтация Соединенных Штатов.

Из Нью-Йорка я вылетел около полуночи. Сделав круг над огнями города и его предместий, самолет пошел над ночным океаном, и ранним утром, когда засветлело в окнах, открылось зрелище невиданное, – как некий чудодейственный лес, стояли над безбрежным облачным океаном огромные недвижимые стволы облаков... Словно я умер и очутился среди этого Дантова видения. Краски небесного леса все время менялись... Это был рассвет, но не на земле, а в какой-то невиданной еще области.

Потом всё исчезло. Зелено-синее море открылось и мы пролетели Порто-Рико; показывались еще какие-то острова, и опять было чистое море. Около 10 часов утра самолет опустился среди легких прибрежных возвышенностей. Это был Кюрассо, голландский остров нефтяной промышленности. Отсюда уже было воздушной рукой подать до венецуэльских берегов.

В Венецуэле я пробыл несколько дней. Ее столицу, Каракас, справедливее было бы назвать «Боливаром». Имя этого генерала, основателя венецуэльской государственности, лежит на всем. Всё – в память Боливара, начиная с денежной единицы. Чистая, спокойная зелень гор окружает столицу Венецуэлы. Дорога от аэродрома и берега моря,

около тридцати километров, идет среди гор из красноватой земли, ровных кустарников и небольших деревьев. Поднимаясь на высоту девятисот метров (вновь знакомый счет на «метры» и «километры»), путешественники входят в умеренный и очень приятный климат. В Каракасе вечная весна, не жаркое лето, незаметно прерываемое быстро находящимися с гор и проходящими легкими тропическими грозами. Это десятая параллель. Кажется, только после трех лет жизни там русские начинают различать зиму и лето, по чуть раньше начинающимся зимою сумеркам.

Венецуэла понравилась мне своей какой-то естественной слаженностью и легкой, южной, но уже и американской озабоченностью. Все там движется, строит и строится. Каракас пенится этим строительством и движением. Множество автомобилей напоминает Калифорнию. Нефть – кровь Венецуэлы. Русские устроены хорошо. В сущности они там, как в земном раю; только жалуются, что прикреплены к этой райской точке, окружены чертой города и окрестности им недоступны для прогулок, из-за змей и скорпионов, а выезд на пляжи океана ввергает в непереносимо- тропический климат. Наши эмигранты уже покупают себе участки и дома на окраинах Каракаса. Выросли две церкви на противоположных окраинах, одна при поселке района Катии, другая в районе Дос Лос Каминос. Настоятель этой последней, почтенный протоиерей И. Б., приглашает посетить их храм, жертвенно и трогательно сооруженный, около банановых пальм.

Дорога к экватору величава и спокойна. Пред сумерками самолет стало качать; мы вошли в сильную облачность, и не очень уютно стала поблескивать молния по сторонам. Но скоро мы выбились из этих грозных туманностей. Поздним экваториальным вечером самолет снизился у Белэма... Когда распахнулась дверь самолета, и пассажиры, с некоторым, кажется, пиэтетом, стали выходить для прогулки на экваторе, неопытный в делах экваториальных, я ожидал находящей на меня волны нестерпимого нью-йоркского июльского воздуха, но почувствовал приятный холодноватый (экваториальный, очевидно, тоже) ветерок.

Поднялись мы с экватора в грозу. Она бушевала и полыхала, казалось, где-то совсем близко. Огромные молнии ходили все время по небу. Среди этого небесного пожара мы поднялись и пошли в озаряемую молниями небесную бездну. Но капитан знал пути неба. Гроза осталась в стороне, мы спокойно летели ночью над непроходимыми и неисследованными человеком местами нашей планеты, и солнечным, сияющим утром уже были в Рио-де-Жанейро... Мой калифорнийский прихожанин, русский

американец, пригласил меня в свой дом – у самого берега океана. Окно моей комнаты выходило на солнечную набережную Капокаваны; пенящимся полумесяцем расстился пляж Рио. Этот город, несомненно, один из самых красивых в Южной Америке. Вечером пришел местный настоятель, и мы проговорили с ним целый вечер. На следующий день он показал мне свою древнюю, русского стиля, светлую церковку Св. Мученицы Зинаиды, построенную русским вдовцом инженером, в память своей скончавшейся в Рио жены. Вечер мы провели у одного русского бразилианца, местного общественного деятеля и старожилы. Он интересно рассказывал о русской эмиграции в Бразилии. В общем, там все устраиваются, но с земледелием в этой стране не все русские справляются. Общественная жизнь русских слаба и провинциальна. Бразилия же страна больших возможностей: она неуклонно развивается, не без помощи Соединенных Штатов. Некоторая косность в характере этих тропических португальцев преодолевается северной техникой и еще одним, подходящим и для экваториальных стран средством Севера.

Легким светлым утром я улетел из Рио. Несший меня в Бразильскую столицу самолет шел над ярко белевшей внизу тонкой чертой океанского прибоя, над береговыми скалами и островами. Потом он свернул через горы вглубь континента и через полчаса оказался в предместьях большого города с хаотически разбросанными на красной земле строениями провинциального стиля... За сутки пребывания в Сан Пауло я успел посетить православный кафедральный храм и Преосв. Архиепископа Бразильского Феодосия, любезно принявшего меня в своем загородном доме.

В половине четвертого утра в моей комнате зазвонил телефон. Оказывается, из провинции только что приехали ко мне в гостиницу, всей семьей, с детьми, давнишние мои прихожане по Сербии, по Белой Церкви. Местный священник, к которому они направились, привез их ко мне в этот предутренний час, зная, что утром я покидаю Сан Пауло... Мне нравится эта европейская манера обращения к пастырям во всякое время. Мы беседуем до рассвета с этой хорошей русской семьей. П., инженер-геолог, работает на сланцевых разработках... Воспитание детей в православной вере – главная проблема этой семьи и подобных ей в Южной Америке, духа не угасивших.

Небольшой самолет несет меня дальше, вглубь континента, на Парагвай. Мы летим не спеша, снижаемся на маленьких аэродромах, прогуливаемся около станционных домиков, потом снова наполняем собою свой почтовый дилижанс и, сильно напылив, без труда отрываемся

от облаков красноватой земли, чтобы подняться в светло-молочную мглу воздуха, пронизанную легким сиянием. С каждой остановкой открывается жизнь, невероятно далекая от всех событий мира, и от своей же бразильской жизни других широт.

Самолет летит над далекими от всего мира углами земли, словно впервые связывая их. Люди влекут себя к всечеловеческому единению. Они хотят устроиться «непрерывно всемирно»... Это еще в прошлом веке начал видеть Достоевский. Никакая материальность и территориальная малость не удовлетворяет человека. Печать вечности и причастности к духовному миру, не преображаясь, не осуществляясь в истинной духовной жизни, претворяется в ничтожную, но увлекающую людей, эмоцию титанизма и вавилонического, технического столпотворения. Крестный ход драгоценного человеческого духа в глубь и в высь, заменяется легкими «политическими» ходами – «направо» и «налево».

История связана с поврежденностью человеческой, с грехом, с невозможностью преодолеть смерть, самый дух смерти, средствами естественными. Объединяясь цивилизационно все более и более в одно целое, человечество не несет себе и в себе все более подлинных ценностей и мотивировок своего бытия. Лишь отдельные души, с живыми неповторимыми их единениями среди народов, возвышают сердца к последним ценностям и истинам... «Устраиваясь всемирно», человечество не выходит из своих партикуляризов. И эта провинциальная, во всех своих выражениях, мнимо-объединяющая людей жизнь, стремится уже к своему «мировому», последнему эону.

Ограниченная и не способная к истинной великости, она хочет себя утвердить во всемирности и безмерности. Но никакая всемирность идей провинциальных и ограниченных не может насытить человеческое сердце. Человек остается, и после всех экспериментов, все снова и снова в бедственной неудовлетворенности.

Ход в дурную бесконечность только чувственных переживаний и поверхностных психических возбуждений не имеет другого конца, как только себя всё время утверждающую самость и смерть; веяние ее все время проносится над народами. Не преображенное и не ищущее своего спасения в Духе Божьем, человечество объединяется не апостольскими огненными языками Пятидесятницы, но своими холодными и злыми языками. Народы и люди заговаривают друг друга. Они обливают себя потоками смутных и мутных – слов. Через эти слова ничего и никого не видно. Государства и отдельные люди прикрывают общими компромиссными, могущими якобы всех удовлетворить словами свое

внутреннее разделение и обособление. Трагична эта обособленность людей (нередко даже в одной семье), обществ, партий, рас, государств, различных религий, и даже церквей христианских... Всё словно алчет нового человеческого единения. И оно всё время осуществляется, но всё по той же линии «наименьшего сопротивления», всё в прежней своей плоскости: техники и договоров. Без выявления, в себе и в другом, подлинного образа Сына Божьего. Человечество заговаривает свое разделение; оно обвязывает себя серпантином хартий и соглашений, сокрывая свою разобщенность; но скрепы эти никого, ни от чего не удерживают, разрываясь от малейших движений и даже шевелений человечества.

А потребность общего единения всё возрастает среди народов... Хотя бы в идее этого единения (даже не в нем самом) люди хотели бы соединиться и спастись от близящейся к ним последней катастрофы. Она предвещается начинающейся в людях мировой метафизической скукой и тоской. Это есть то, – «уныние народов и недоумение» (Лук. 25:25), о котором говорит Евангелие. Вместе с животным страхом и стимулами материального, экономического прогресса, жажда ничтожного самопрославления на краткий земной миг движет миллионами людей в разных странах и народах, одинаково-эгоистически устремленными и к своим мирным договорам, и к своим войнам...

Наиболее разделяющие человечество эгоцентрические стимулы парадоксально ведут ко всё большему единению. Оно не экзистенциально, это единение, но кажется людям необходимым и выгодным для всех, для материальных целей каждого. И то, что должно быть результатом огненного очищения и крестного, героического возвышения в духе силою высшей любви, крепостью вечной правды, то совершается вопреки любви против этой правды. Здесь тупик «цивилизации». Вместо нового, безжывчинного человечества, нашедшего общее в Божественном и единое в истинном и праведном, создается неотвратимой силой многих непросветленных усилий человечества, агрегат, новое поверхностное соединение, новая фикция якобы уже добытого благополучия; рождается социальный коллектив неприкаянных обрывков бытия, некий «юнион» человечества, строяемый не на истине, не на бескорыстной любви, а на «интересах»... Выявляется мучительная связанность людей друг с другом без антропологически-истинного и метафизически-верного их соединения.

Бедное человечество, оно в себе носит и всё время умножает возможности своего распада. И, мы видим, войны, одна другой суровее, разрушительнее, – рождаются в пустотах духа, не заполненного истинным

бытием... Курица-человечество всё время сносит огненные и стальные яйца, совершенно независимо от своей воли.

Всё в мире друг ко другу неистинно приблизилось и всё более приближается, желая свиться в один неистинный клубок не-единой внутренней жизни. Люди, страны и атомы уже материально стали рядом друг с другом. Исчезают спасительные средостения пространства и материи. Рост же духа человеческого не поспевает за географическим, социальным и физическим сближением стран, людей, народов и атомов.¹

Мир стал уже одной страной, становится одним городом и хочет стать одной Башней. Дух предчувствует еще более острое разъединение человечества от этого не-экзистенциального единения, приближения друг ко другу не Духом Божьим... Личность будет угашаться в новых и разных образах мирового коллектива и возбуждаться всё к новым взрывам ее убийственного автономизма. Но последняя свобода человека остается нерушимой. Всё более легким будет, для имеющих глаза, чтобы видеть, познание близости и спасающей милости Вечного Бытия...

Тропическая равнина. Пальмовые рощи, озера, заливные луга. Самолет мягко сталкивается с землей и останавливается у одинокого стоящего в поле здания. До Ассунсиона еще двадцать километров. Меня везут к столице Парагвая русские «первого призыва», – около четверти века проживающие в Парагвае. Прочно, хорошо, не теряя себя, они вошли в местную жизнь и в ее государственность. Остаются, однако, очень мудро, в стороне от местных южно-американских темпераментных политических разномыслий. Русские Парагвая не пострадали ни от одной из десятка случившихся там за эту четверть века революций. В стране не прекращается очень романтическая и одновременно весьма прозаическая борьба «белой» и «алой» розы; две партии неизменно, и не очень парламентарно, борются из поколения в поколение, друг с другом, завещая и сынам и сынам своих сынов эту борьбу с ее (в общем, не очень кровавым) политическим взаимомистреблением. Партия «синих» и «красных» («колорадо») доселе ведут эту борьбу... Сейчас у власти партия «красных»... «Красные» эти ничего, конечно, не имеют общего с известными всем «красными» (существование СССР, до сих пор, в Парагвае не признано). Русские эмигранты свыклись с этой хорошей, провинциальной, гостеприимной, воинственной и одновременно мирной страной.

На главной площади Ассунсиона воздвигнут, лет двадцать тому назад, памятник. На очень важном постаменте стоит старый, маленький, выцветший, словно съезжившийся, образца 1917 года, танк. Это – памятник

победы Парагвая над Боливией (победы, явившейся не без участия нескольких русских белых офицеров в штабе и на передовых позициях). Боливия, оказывается, имела тогда целых два таких танка; один и был захвачен парагвайцами; это, повидимому, решило исход войны. Танк помещен в назидание потомству на площади пред дворцом правительства, с совершенно изумительной надписью. Она гласит:

«Это – памятник уже прошедшего тяжкого недоразумения между двумя братскими народами. Он свидетельствует о непоколебимом желании этих народов хранить мир и достоинство друг друга».²

Если бы на площадях мировых столиц, и особенно европейских, стояли подобные памятники! Это великолепное христианское великодушие народов к своим врагам (и, главное, соседям) сделало бы, в конце концов, психологически невозможной войну между ними... Мир погибает от недостатка этого священного безумия. Право, есть что-то очень ценное и нужное миру в этом единственном по-видимому в стране, выцветшем, стареньком танке, стоящем на величественном пьедестале, в подтверждение живого и доньше христианского великодушия в человечестве.

Парагвайцы и русские живут в домах старинного провинциального типа, спят в комнатах с высокими потолками, под кисейными мустикерами. Улицы Ассунсиона вымощены огромным бульжником – приятно было пройти по настоящей мостовой, среди которой встречаются почти миргородские лужи. Жители парагвайской столицы мало торопятся жить и чувствовать не спешат. Классическая «маньяна» («завтра») – радость и бич испанских стран, – веет и над этим уголком бывшей испанской империи. На службу там тоже ходят, насколько я понял, от 8 или 9 до 11-ти утра. После полуденного обеда полагается всем «съеста»: отдых... Русские легко вошли в этот уклад, погружающий человека в самые недра южноамериканской патриархальности.

Кладбище русское в Ассунсионе прекрасно. Под сенью каких-то ветвистых деревьев покоятся православные кресты и надгробные плиты над могилами русских людей, пришедших в этот дальний угол мира, сложивших свои кости в Парагвае. На каменных плитах еще не стерлись чины: поручики, полковники, статские советники, генералы, вдовы поручиков, генералов и статских советников. Есть и молодые, изъятые из этого мира «ожиданий и надежд земных». Скромные полевые цветочки растут на кладбище. Молитвенно поминаю этих братьев и сестер во Христе, земные тела которых, после земных радостей, страданий и странствий, положены в этом последнем земном саду.

Большой гидроплан, с двухэтажными каютами для пассажиров, стоит среди широкой реки Параны. Он слегка покачивается. На раннем холодноватом небе собирается дождь. Сквозь иллюминатор мне видны плоские берега, несложные очертания Ассунсиона. Мотор начинает глухо работать, гидроплан трогается, скользит по реке, всё с большими брызгами. Целые, наконец, каскады от него летят. И – быстро отрывается вода от нас...

Через пять часов мы повисаем над коричневыми сотами Буэнос-Айреса.

На стене моей комнаты большая черная рама, в ней 70 выцветших фотографий: 46-ой курс СПб Духовной Академии (1884–88). В самом большом овале, спокойное, умное лицо молодого епископа; это ректор Академии, будущий Митрополит Петербургский, Преосвященный Антоний (Вадковский). В верхнем ряду портретов юноша в сюртуке и отложном воротнике, волосы чуть всклокочены спереди, добрые глаза смотрят вверх... Это Василий Белавин, – Патриарх всея Руси Тихон. В четвертом ряду – молодой человек с круглой бородкой, в очках; это К. Г. Изразцов, хозяин дома, где я живу.

Шестьдесят лет тому назад, молодым священником, он вступил на аргентинскую землю и – вот остался, с обрученным ему Приходом, на всю жизнь.

Ему теперь 86 лет. Полупарализованный и слепой, он еще бодр и сочетает в себе крепость воли русского тверяка с обхождением члена императорской дипломатической миссии в Южной Америке.

Аргентинская епархия, находящаяся в административном ведении протопресвитера К. Изразцова, состоит из нескольких приходов. Храм о. Константина в Буэнос-Айрес, на Calle Brasil, один из лучших, по своему внутреннему убранству, храмов Зарубежья. Майоликовый иконостас его сооружен Тенишевским училищем в Миргороде. Воплощенную в глине, в самой русской земле, православную красоту, по кусочкам привезли в Аргентину и сложили в этот удивительный иконостас. О. Константин неоднократно ездил до революции в Россию, собирая на построение первого православного храма Южной Америки. Рассказывая об этом, вспоминает он беседу с Государем в Царском Селе, интерес Государя к Аргентине и Аргентинской Церкви, его великодушную жертву, и – совсем простые расспросы молодого священника о его семье, оставшейся за океаном... Всем пятерым сыновьям о. Константина было обеспечено воспитание в Училище правоведения... Вспоминая эту встречу с милостивым Императором, старец-протопресвитер плачет.

Его рассказы о начале Православия в Аргентине интересны. В то далекое время русских людей в стране еще не было. Кто из России хотел эмигрировать в Аргентину? Община о. Константина состояла из арабов, греков, сербов и болгар. Русская Церковь была, в буквальном смысле, матерью всех православных народов на новом континенте. Теперь греки и арабы имеют свои храмы. А в историческом храме о. Константина собираются русские всех эмиграционных эпох, сербы и болгары. Панихиды и венчания нередко совершаются на испанском языке, таком же общем для всех православных Аргентины, каким является английский язык для православных Северной Америки.

Что можно рассказать о русских в Аргентине? Они работают и трудятся, и, мне кажется, мало входят в местную жизнь. Закон всех колоний оправдывается и тут: чем больше колония, тем разнообразнее ее разномыслия и ярче у людей осознание своей правоты и неправоты своего ближнего. Но есть и в русской Аргентине люди, глядящие в глубину, видящие в ближнем своего брата и немеркнущую святыню Церкви за ветвистыми деревьями церковных недоразумений... Есть не забывшие, за всеми этими «ветвями», своей бедной души и души другого человека.

После месяца пребывания в Аргентине, служения там и общения со многими – начинаю свой обратный путь... Над плодородными прериями и зелеными пастбищами страны северный корабль меня уносит в новое небо, и, через два-три часа, у самых отрогов Анд, открывается один из больших городов Аргентины Мендоза. За нею сразу пустыня и скалистые, синие и снежные горы... Всем дают кислородные маски. Ощущается подъем. Мы летим над снегами и выветренными скалами, почти касаясь их... Стюард ходит не без нервности меж кресел и указывает всем на вершину справа; мы находимся чуть ниже ее гребня. Это самая высокая точка Южно-американского континента, гора Аконкагуа, 23.000 футов высоты; мы зашли сюда, несомненно, чтобы доставить удовольствие туристически настроенным пассажирам, потому что сейчас же после этого делаем крутой вираж налево и быстро идем на снижение... Через полчаса мы уже на аэродроме Сантьяго – Чили. За барьером таможни вижу настоятеля местной русской ново-эмигрантской церкви, о. В. У., с сыном и церковным сотрудником. Они везут меня в город – чистый, живой, европейского стиля; климат его умеренный, воздух бодрящий, сухой; высота 800 метров.

Два дня проходят в общении с православными Сантьяго, в осмотре двух церквей и русского дома, где единится новая эмиграция; и я опять лечу, уже над береговой линией Пасифика, вдоль мягких светло-

коричневых складок Анд. Солнечный голубой океан сияет слева.

Остановка в Антофагасте. Темные пески Сьерры Морены, крайний пункт Чили. Поздними сумерками мы подлетаем к столице Перу, Лиме, и скользим в тумане, совсем низко над ее улицами, давая световые сигналы с концов крыльев самолета.

Утром – воскресный день – меня привозят в устроенную недавно, заботами нескольких семейств, маленькую православную церковь. Ее настоятель иеромонах, страдавший в России за веру, встречает меня добрым словом. Говорю, после молитвы, краткое, странническое приветствие людям...

Около Лимы, в пустыне, лежит древний город. Мне хотят его показать. Мы едем туда и молчаливо ходим по этим пыльным – какой-то нездешней пылью – улицам мертвого города; верхняя площадь его была одновременно и храмом; каждое утро и вечер весь город собирался на эту площадь и поклонялся Единому Богу, в символе Его творческого Света... У песчаных берегов гнездятся острова, полные птиц, несущих стране ее богатство.

Перу – страна Южной Америки, имеющая древнюю историю. В этнографическом музее Лимы можно видеть следы ее значительной, потонувшей в веках цивилизации. Древние народы Перу (как показывают экспонаты музея) обладали медицинскими знаниями, необходимыми даже для трепанации черепа... Мне рассказывают о полете через Кордильеры, в столицу древних, исчезнувших народов. В окруженной блистающими снегами долине лежит Кузко, Город Мудрецов, созданный народами, уступившими свое место средневековым инкам – царству коммунистов и этатистов. Идеи коммунизма не новы для Перу. Их там испробовали в средние века, и это было деградацией древней культуры.

Циклопические постройки Кузко, созданные древнейшими народами Кордильер, лежат на высоте 2 тысяч метров. В изумительной долине, среди гор, течет река. Город сохранился лучше многих европейских, последней войной разбитых городов. В Городе Мудрецов люди молились Богу Единому. «Красоту тех мест не опишешь», – говорят русские путешественники. И когда они, после нелегких переходов среди пропастей, сошли в тишину этой долины, им показалось, что они вошли в иноческую молитвенную тишину Валаама.

Есть в Перу одно животное, лама, горный небольшой верблюд, почти козочка. На больших высотах можно пользоваться для передвижений только ламой; лама хорошая работница, но она не имеет сил жить среди некоторых людей, – она не выносит насилия. Если грубо с ней обратиться

и ударить ее, – слезы начинают катиться из ее прекрасных глаз, лама плачет, трудно сказать о ком: о себе, или о человеке; если же ее еще раз ударить, она ложится и умирает. .. Мне так рассказывали в Перу.

Звезды кажутся у экватора ближе к человеку. Недаром над южным полушарием – тончайшее сияние Южного Креста. Сияние звезд освобождает человека для новой таинственной близости ко всем вещам...

Люди стали смотреть на звезды как-то странно, – математически, астрономически. «От звезды X свет идет 100.000 световых лет» ... «От галаксии У свет идет миллионы световых лет»... Эти цифры не вмещаются в сознание. Пред ними гаснет всякое человеческое представление, хладеет разум и мертвоет чувство. Астрономическое знание всё более приближается к абсолютному нулю холода межзвездных пространств.

Древний эллин, смотря на звезды ясной аттической ночью, дрожал от религиозного благоговения. Он не смел ничего совершить пред этими звездами, чего бы не мог совершить в храме. Человечество забыло свой древний трепет пред звездами. Оно перестало видеть, что престол храма есть Престол, а не знание о досках, гвоздях и материи... Сколько потрачено дерева, камня и извести на храм, где люди причащаются Божественных Тайн, и какая длина и ширина стен, вводящих человека в Вечную Жизнь, – разве это имеет отношение к реальности Высшего Бытия?

Для некоторых историков, может быть, интересно знать, сколько чернил потратил Данте на «Божественную комедию», и какова химическая формула этих чернил. Но – что общего между этим точным научным знанием и – самим Данте и его «Божественной комедией»? Если человек будет всё более уходить в сомнительную глубину подобного знания, то, вероятно, богословы скоро начнут интересоваться (и уже интересуются отчасти) не служением Благодати и Истине, а установлением «точного количества» шагов апостола Павла, или Петра, между Антиохией и Иерусалимом...

Непостижимо и дивно величие вселенной! Наполнена она огнем и жизнью, и духом некоей божественной меры. Всё соединено в ней в живое единство. Звездный мир пылает, если еще не огнем, то уже дымом близости Творца. И оттого трепещет живая душа, смотря на звезды. Человек – менее, чем пылинка, пред этими облаками безмерных сверх-пространств... Земля – тоже пылинка среди звезд; и сами звезды – пылинки...

А весь космос, не пылинка ли и он? Я хотел сказать «потерянная», – но нет, не потерянная, но берегомая и хранимая в воле и разуме Единого

Триипостасного Божества... «Се на дланях

Моих написах тя и предо Мною еси присно» (Ис. 49:16).

Земля и человек поистине средоточие космоса и центр творения. «Центром» человек и его земля являются не по теории наивного средневекового геоцентризма, а по той высшей истине, по которой «центром» Вифлеема оказались ясли; а «центром» древней Иудеи стал Вифлеем; а весь Иудейский народ, в минуту Боговоплощения, обратился в центр человечества... Не во дворце римского или иного какого-либо правителя нашел Себе приют вочеловечившийся, открывшийся творению Творец, а на соломе Вифлеема.

Войдем в область новых, духовно-аксиологических отношений, в сферу новой психологии и логики. Странно будет нам лишь в начале... Но мы увидим, что малое может быть более значительным, чем великое. Небольшой драгоценный камень в горе может быть драгоценнее и «больше» всей горы! «Первое» может легко оказаться (и это утверждает категорически Евангелие) последним, и «последнее» – первым. Если рассуждать евангельски, и, одновременно чисто-эмпирически научно, то обнаружится, что центр бытия – не в пространственно-великих феноменах и явлениях мира, а в духовных его корнях, свершениях и целях. В «Яслях», если хотите. Там, где начинает выявлять Себя Логос мира, там всё способно быть центром... Тут новое измерение! Торжество принципа пневматологической равночестности пространственно-малого и великого в творении... «Могущий вместить, да вместит».

Невозможно рассматривать мир, как область одной только физической протяженности и меры. Бытие есть феномен духа, прежде всего; оно измеряется не только геометрией и математикой, но и оценкой истины, – духовным измерением чистоты, интегральности Бытия и его интенсивности. Евангелие открывает человечеству эту Тайну и эту меру.

Современная наука ее подтверждает, своими открытиями.

Человечество потерялось во «внешней», астрономической тьме и в пустынях солнц. Оно расплывается в интеллектуальных, бесконечных (подурному) отвлеченностях; некоторые философы это называют «объективизацией». Люди выпали из Рая целостной внутренней своей жизни и ее духовных постижений; они очутились во тьме внешних фактов, явлений, отношений и оценок.

«В Отчий Дом», «внутри», к себе, сначала верою, а потом любовью надо вернуться человеку. Рай мира не на звезде «Альфа», а в «Альфе и Омеге», «Звезде Утренней», – Христе. Не на перифериях космоса, как бы ни поражали и ни блистали они своими тысячами тысяч солнц, а внутри

самой жизни, в святыне Логоса и Духа. Для чего же спорить о том, «где центр мироздания»? Это во дни гуманизма наивные богословы спорили, с такими же наивными астрономами, на эту тему, сражаясь в сфере дурной бесконечности физического пространства и абстракций. А споры в этой области завершаются только тоской и скрежетом зубов. История это показывает. И о прямой связи «внешней тьмы» со «скрежетом зубов» человечества ясно говорит Евангелие.

Ценность земли не в том, что она «самая большая» или «самая совершенная» земля мироздания. Ценность ее в том, что на ней, малой, как Вифлеем, и убогой, как ясли, и, вероятно, самой грешной частице творения, наиболее, повидимому, оскорбившей Бога, воплотился Бог Милосердия и Любви. В безднах своей свободы земля может быть наиболее отрицала своего Творца; и потому на ней вочеловечился Творец, выйдя навстречу смертной убогости нашего человечества, отринувшего свою свободу в Боге. Божественному Духу Любви было свойственно «оставить» 99 мириадов сияющих творений и придти к этому потухшему и жалкому; и народ, который, может быть, наиболее боролся с ослепляющей правдой Неба, первым получил благодать Небесной Милости. И земля стала сотериологическим «Центром творения», пред которым склонили свои лица серафимы и херувимы.

Человек не только может, он должен – и религиозно, и чисто-научно – считать себя средоточием. Физическое пространство открывается от человека не только вверх (в «бесконечно-большое»), но и вниз (в «бесконечно-малое»). Ускользящий всё время от к нему стремящегося человека подобно- звездный мир малого представляет собою такое же великое «нижнее» небо мироздания, как и «верхнее» – звездное – небо.

Звезда Антарес, в созвездии Скорпиона, в 36 миллионов (!) раз больше нашего солнца, которое в 1.290.000 раз больше земли... И ведь это одна только звезда... А ядро атома водорода, протон, имеет диаметр, равный, приблизительно, одной миллион-миллионной 1/1.000.000.000.000 миллиметра!.. Здесь открывается такая же бытийственная бездна, как и в величайших континуумах вселенной... Люди, поистине, стоят среди двух бездн, верхней и нижней. В этом «центре» удерживается человек – безмерной Божьей любовью и властью. И зреет для вечности.

Эмпирическая наука, погружаясь в тайны всё сокрывающейся от нее материи, находит ту же самую истину, о которой простым и ясным языком, уже тысячелетия, говорит Библейское откровение, обращаясь и к самому простому, и к самому умудренному сознанию человека.

И что представляет собою огромная песчаная Сахара перед одним

человеком, остановившимся среди ее песков для молитвы к Творцу?! Сахара «больше» человека, но молящийся среди нее человек бесконечно больше Сахары. И все эти бесчисленные звезды, млечные пути и атомы, это, может быть, лишь один песок торжественной пустыни мира, окружающей человека... И, может быть, эти миры только призваны, своим величием, тишиной и тайной, учить осквернившего себя и волею ослепшего, но и божественно-свободного человека тому, что он есть сын Божий... Учить смирению и благоговению пред Творцом. И если все эти звездные и атомные миры, океаны и пустыни могут научить хотя бы одного человека истине Божьего Бытия, – их существование оправдано и благословенно.

Самый великий мир сокрыт не в движении невидимых и только постигаемых континуумов и не в ужасающей энергии атомов (и ни в каких вообще феноменах материи), а во глубине Истины Господней. «Истина Господня пребывает вовек»... И самым великим предназначением всех мировых солнц и протонов остается – привести к Небесному Отцу хотя бы одного человека. Может быть, всё человечество!.. «Небеса поведают славу Божию, творение рук Его возвещает твердь». (Псал. 18:2).

На рассвете, чуть холодном и облачном, самолет поднялся с аэродрома Лимы и взял курс на Эквадор. Днем были две пересадки. Вечером я сошел на землю столицы Колумбии.

В горных экваториальных странах белые люди могут жить только на высотах. Лучшая экваториальная высота: 1.500 метров, – ровный, умеренно-тропический климат. Столица Колумбии, Богота, лежит на высоте 2.700 метров; это вторая по высоте столица мира (после La Paz – Боливии). Сначала сердцу трудно целые дни быть на такой высоте, но потом оно привыкает.

Русская колония Колумбии, кажется, самая небольшая и самая сплоченная в Южной Америке. К моему приезду в Боготе был устроен храм (из гаража); все православные приняли в этом участие и украсили храм своими семейными святынями... И несколько дней я молился с этими хорошими русскими колумбийцами, совершал Литургию, приобщал людей Св. Тайн. Исторически я оказался, повидимому, первым – от сотворения мира – православным пастырем, ступившим в столицу Колумбии. Пробыв неделю в Боготе, я посетил Меделин, второй по величине город страны, и прожил там два дня гостем русского колумбийца, одного из четырех первых русских пионеров в этой стране, поселившихся в ней в начале 20-х годов. Он возил меня по окрестностям, рассказывал о Колумбии, им исхоженной и излетанной, показывал

кофейные деревья, сахарные плантации; в сарае примитивного сахарного заводика меня угостили только что вываренным из твердого тростника горячим и бурым месивом; грязноватое и тяжелое, оно, пожалуй, так же некрасиво, как и современное человечество, еще не вошедшее в полную истину своего бытия...

Колумбия вся летает... От ослов и горных троп она сразу перешла к аэроплану.

Путь мой теперь из Меделина – к Панамскому каналу.

Расстилается внизу сперва гористая, а потом только зеленая бархатная земля. Это леса, глухие джунгли. Иногда сверкают озера. Жилищ не видно. Пред самым океаном идут заливы и острова.

С аэродрома Панама – довольно продолжительное путешествие в самую столицу. Льет тропический, тяжелый и теплый дождь. Останавливаюсь в столичном секторе Зоны канала. Там, в большой и белой гостинице, построенной на системе южных сквозняков и северного благоустройства, собратья мои по американскому Северу едят, полуритуально и полулекарственно, свою благодарственную индюшку. Это – день Благодарения. Самый честный день секуляризированного человечества.

Утром лечу дальше, в самую малую республику Средней Америки, – Сан-Сальвадор; там будет моя последняя пастырская остановка.

Четырехмоторный самолет пан-американской линии вздымается к низким облакам, выходит из них и летит, словно медленно оглядываясь, над величественным и солнцем озаренным входом в Панамский канал.

Коста Рика, Никарагуа... Местность, испещренная вулканами. Пролетаем низко над одним; с его краев сползает красная, огненная лава...

Малые республики Центральной Америки похожи друг на друга; в них что-то есть игрушечное. Но романтизм олигархии повидимому там настоящий. В Гондурасе административные нравы отстают на два или три столетия. Это не мешает поверхностному американизму, вывозимому из Соединенных Штатов, наводнять эти страны, соединяя воедино разные черты и стили Америки.

С краткими остановками в Гватемале, Мексике и на Кубе я пролетел последнюю часть своего пути, и в конце ноября сошел на землю Соединенных Штатов Америки, еще больше почувствовав ее той землей, куда можно всегда придти.

Образы могучего и беспомощного Континента стоят пред моими глазами. Заметки мои отрывочны, описание впечатлений не полно, может быть, оттого, что я не так уже молод, чтобы в образах этого мира находить

неиссякаемое разнообразие.

Над Азией

Никогда я не думал, что в моей жизни будет день... которого не будет. Однако это случилось в полночь над Великим океаном, над его облаками, под его звездами. Произошло это между Гавайями и островом Уэйк... Погасло воскресенье, 5-е июля, и начался вторник, 7-е июля.

Заря в этот день занималась очень медленно над Великим океаном. Мы всё уходили от нее в ночь, со скоростью почти 400 миль в час, но уйти не смогли на своем страто-самолете «Боинг» Пан-американской линии, называвшемся «Сувереном небесной тверди». Заря всё же имела над нами перевес и, медленно краснея, нагоняла нас над океаном, и, наконец, облила нас солнцем на маленьком острове. Мы стояли на земле час, грелись и охлаждались. «Суверен небесной тверди» подкреплял себя и нас, своих гостей, почти подданных. Остров Уэйк совсем небольшой. Он словно специально поднялся из океана, чтобы служить двум континентам...

Между Уэйком и Японией нас немного покачало; здесь всегда качает, говорят, потому что тут встречается воздух холодный с воздухом теплым (не от тех ли же причин качает и в Корее?)... Сильная облачность проводила нас до Японии, и первое, что мы увидели в этой стране, это Фузияма. Над дальним краем облачного океана стояла эта гора, похожая на египетскую пирамиду.

Подлетая к Токио, мы стали с трудом выбиваться из облаков и довольно долго летели над пространствами маленьких домов этой, самой раскинутой, кажется, в мире столицы.

Только успел я выйти на землю Азии, как подошли ко мне около самолета два офицера американской армии, – старший, полковник, представился как главный священник американских войск на Дальнем Востоке. Другой был майором. Полковник сказал мне, что генерал Кларк получил уведомление о моем прилете в Японию, от Митрополита Леонтия, и мне будет оказано всяческое содействие на моем пути в Корею. Майор очень любезно взял мой ручной багаж и помог мне быстро пройти все таможенные формальности. В самом здании аэропорта я увидел Преосвященного архиепископа Вениамина, окруженного священниками-японцами и несколькими русскими местными церковными деятелями. Нас повезли, с владыкой Вениамином, к центру города, где возвышается (видный издали) православный собор Токио.

Под колокольный звон вошли мы в церковную ограду... Там, по обеим

сторонам дороги к храму, стоял народ... Встреча священников была в притворе собора. Затем начался благодарственный молебен; служили японцы-священники, пел по-славянски и по-японски хор, почти весь состоящий из японцев, под управлением русского регента. Я сказал слово собравшемуся народу о целях своего приезда, о переменах в управлении их Церкви, и передал им приветствие и благословение Первосвященителя Америки и Собора ее архиереев. Слово мое было переведено сейчас же, одним из диаконов, на японский язык, и все подошли ко кресту... После в церковном доме состоялась братская трапеза, устроенная сестричеством собора. Там я ближе познакомился с пастырями и деятелями церковного Токио. Владыка Вениамин показал мне все приспособленные строения: дом, школу и небольшую «зимнюю» деревянную церковь, перевезенную в Токио с того острова, где ее построили своими руками русские пленные в 1904–5 году. В этом храме, чрез несколько дней, откроется Собор Японской Церкви. Делегаты нескольких десятков приходов должны прибыть со всех концов страны...

Первое общее впечатление мое от японской столицы: город полон движения, кипит народом и никаких следов войны. Но христианство Японии это, конечно (как и всюду, во всех народах), «малое стадо», которому сказано: «не бойся». И православные японцы тоже не боятся быть представителями втройне «не-национальной» веры – вышедшей из недр белой расы, пришедшей из Палестины и проповеданной русскими проповедниками. Как-то особенно отрадно было почувствовать этот духовный подвиг японцев-христиан. Это уже Восток не Ксеркса, а Христа. Таким Востоком призвана быть и вся Россия... Эти скромные японские православные люди легко по-детски преодолели самую жестокую тяготу земли, особенно сильную в их стране. Над своей бессмертной душой, которая «дороже всего мира», они поставили только Сына Человеческого и Сына Божия.

Две вещи более всего произвели на меня впечатление за эти первые дни в Японии: класс евангельской катехизации взрослых японцев православным диаконом-японцем, и – огромная каменная крещальная купель в крещальной часовне, рядом с притвором Токийского собора.

Если русские миссионеры-апостолы прошлого века были для Японии примером христианской всечеловечности, умеющей забывать всякую самость (в том числе и национальную), то теперь эти скромные православные японцы могут быть, и для русских, и для греков и для римлян, примером человечества, возвысившегося к небу над своей землей, плотью и кровью. А в наш век обостренных шовинизмов, – что иное может

спасти мир, как не эта правда и вера, для которой нет ни эллина, ни иудея, но «всяческая и во всем Христос».

Японская Православная Церковь основана апостолом Японии, Преосвященным Архиепископом Николаем (Косаткиным) 92 года тому назад. Молодым человеком, окончившим русскую Духовную Академию, он прибыл в Японию и посвятил японскому народу всю свою жизнь.

Апостольскому призванию Архиепископа Николая предшествует следующий факт. В конце 17-го и начале 18-го века жил один русский путешественник и мореплаватель Василий Головнин. Во время одного из двух своих кругосветных путешествий проплывал он мимо северного японского острова. На его корабле почти не оставалось питьевой воды. И вот Головнин, с несколькими своими соплавателями, на шлюпке идет искать воду к этому острову... А незадолго пред тем на этот именно остров напали пираты, после чего японцы прислали войсковую часть для охраны острова. Василий Головнин с его людьми был схвачен, и так как ни он не понимал речи японцев, ни они его речи, то он со спутниками своими оказался в заключении. Каким-то путем он смог выбраться ночью из того дома, куда его поместили (в Японии дома строят обычно из легкого материала), и бежал куда глаза глядят, но далее берега, конечно, убежать не мог и приютился в какой-то рыбацкой деревне, в семье одного японца-рыбака.

Потом, конечно, его поймали, и он в общем пробыл в японском плену 2 года. Только привезенный в Токио, он смог объясниться, при помощи какого-то голландского матроса, с японцами, и те, наконец, поняли, кто он и откуда он. Отпущенный в Россию, он написал свою книгу воспоминаний. На эту как раз книгу напал студент Духовной Академии Косаткин, будущий просветитель Японии.

Когда он ее читал, его поразило то место, где Головнин рассказывает, как милосердна к нему, беглецу, была семья японского рыбака на острове Хокайдо, как приютили и накормили его, безвестного иностранца. Головнину запомнилась жалость к нему со стороны этих людей и особенно девочки, дочери рыбака... Прочтя эту страницу воспоминаний Головнина, студент Косаткин ощутил душевное волнение: если люди в этом народе, не зная Христа, так близки ко Христову духу, то – как драгоценна будет проповедь о Христе среди этого народа. Он, Косаткин, уже слышал, в этой настойчивой мысли своей зов Божий, и принял решение посвятить свою жизнь благовестию Евангелия среди японцев.

Молодым иеромонахом приехал он в Японию, и прежде всего

погрузился в изучение страны, ее нелегкого языка и письма...

Эту историю мне рассказал, со слов самого Владыки Николая, его ученик, ныне 82-х летний старец протоиерей Виссарион Таканази, настоятель православного японского храма в Киото. Сам он, юношей, был обращен в веру Христову Владыкой Николаем. С ревностью молодой русский иеромонах-миссионер стал изучать японский язык. Отец Виссарион Таканази говорит, что его учили 4 учителя. Когда один из них изнемогал от утомления, начинал учить другой.

И архиепископ Николай овладел японским языком так, как не все японцы владели им. Уважение к нему японцев, к концу его жизни, было исключительным. На заре его проповеди о Христе в этой стране ему пришлось однако столкнуться с терниями, неизбежными в этом мире для благовестника Божьей правды. Успехом своей проповеди он навлек на себя гнев жрецов и самураев.

Один из этих неистовых язычников Собэ ворвался к нему однажды в келью с обнаженной саблей, чтобы его убить. Но то, что затем произошло в скромном жилище православного миссионера, осталось надолго в памяти японцев. Кротость и доброта иеромонаха Николая по отношению к дышащему убийством самураю сделали то, что самурай этот, пораженный каким-то внутренним постижением истины, опустил оружие, а потом и совсем откинул его.

Дух Христов пленил этого искреннего человека, который, как некогда Савл, увидев свет высшего добра, прозрел сердцем и стал не только христианином, но и активнейшим членом миссии Японии, помощником отца Николая, благовестником и пастырем. Этот факт совершенно видимого действия Благодати Божьей сильно укрепил и ободрил молодую японскую Церковь, ее членов, шедших в своей вере против тысячелетних языческих традиций своей страны, традиций, связывающих людей остро-националистическим ее духом, религиозным культом императора и его предков.

Религия Христова и к Японии шла, как и к другим странам, «от иностранцев». Это одно уже рождало ей преграды, особенно в Японии, которая почти до начала, даже середины второй половины прошлого века жила в исключительной изоляции. Справедливо сказать, что, в обращении японцев в христианство, открывалась и свидетельствовалась вся вышестественность, всемирность Христовой истины, столь заметно переводившей человека от временного и ограниченного к вечному и общечеловеческому. Вопреки законам материализма и условиям своего бытия, человек преображал свое сознание.

После кончины архиепископа Николая в Японии осталось 40.000 православных японцев, около двухсот приходов и общин, молившихся на своем родном языке. Слово Божие и богослужебные книги были переведены на японский язык и изданы. И этот собор Воскресения, который сейчас известен каждому жителю Токио, остался после владыки Николая памятником силы Божьей, действующей в немощи человеческой, – той немощи, которая себя отдает силе и любви Божьей.

Улица, на которую выходит собор, называется Улицей Николая. Любому шоферу Токио скажите, что вам надо на «Никорай До» (японцам трудно произносить «л», и они обычно произносят «р»), – и он вас сейчас же отвезет на этот холм, где стоит огромный византийский собор, – несколько каменных зданий и «зимняя», деревянная, русского стиля, церковь. Ее построили в начале века пленные русские солдаты и офицеры, на южном японском острове, и она была после перенесена в токийскую церковную ограду.

12-го июля в токийском соборе служило три епископа и 19 священнослужителей: пятнадцать священников и четыре диакона. Большой хор японцев пел литургию по-японски, славянски и гречески. После заамвонной молитвы я сказал слово, которое было переведено на японский язык одним из священников.

От имени Собора Архιεреев Русско-Американской Церкви я вручил грамоту Церкви Японской, в лице председателя ее Консистории, прот. Иакова Ямагучи и кафедрального протоиерея Самуила Узава. Грамота была на двух языках: японском и русском.

Всего на 70 лет Американская Православная Церковь старше своей сестры, Церкви Японской, вышедшей тоже из русской миссии, но, в силу всех сложных обстоятельств нашего времени, она призвана, временно, заменить ей мать.

Японская Церковь не утратила своего чисто-миссионерского характера, как отчасти уже утратила этот свой прежний аляскинский характер Американская Церковь, сделавшись Поместной Церковью Америки.

В Японии непрестанно прилагаются к Церкви язычники (главным образом, из молодых шинтоистов и буддистов), принимая крещение после оглашения и прослушания катехизаторского курса. Проповедь ведется японцами катехизаторами по всей стране. Катехизаторы – обычно, диаконы или миряне – обучают японцев Евангелию, основным истинам веры и жизни.

Мне довелось присутствовать на таком «первохристианском» оглашении... Я бы хотел, чтобы слушатели всех наших религиозных лекций и бесед в Америке, с таким же вниманием и сосредоточением слушали Слово Божие, как эти молодые японцы, приникающие всей глубиной своей к Источнику «воды текущей в жизнь вечную»... Японцы – прекрасные ученики. Быстрота возникновения у них – единственной пока в Азии – европейской цивилизации указывает на это. Может быть, никакой другой народ не умеет так, как японцы, слушаться, и как-то утробно понимать самый смысл иерархии. В силу этого доброе начальствование для японцев настоящий клад, а плохое – разорение и несчастье гораздо большее и быстрее, чем для французов, англичан или американцев.

Японская государственная душа сейчас, конечно, в недоумении,

отчасти опустошена. Вернее, она еще не может опомниться. Культ императора, еще совсем недавно имевший, как в древних империях, все черты культа религиозного, теперь, в правление генерала Макартура, прекратился. Конечно, не Макартур его формально прекратил, но сам император, вскоре после окончания войны, по совету генерала, осуществляя общий план демократизации страны, лично, императорским своим голосом, провозгласил по радио на всю Японию, что нет оснований его считать за существо божественное... Так начался новый, доселе невиданный и еще не испытанный за 2500 лет существования династии, исторический период Японии. Страна сейчас проходит чрез вторую свою великую ломку. Первая началась 80 лет тому назад, когда было введено в стране западное просвещение.

О первых годах японской демократии в стране рассказывают многое... После объявления новой конституции одна девушка-японка, не поладив со своими ближайшими – слишком авторитарными – родственниками, покончила жизнь самоубийством, оставив записку: «Я умираю для того, чтобы жила демократия»... Такая целостность души несколько напоминает Россию... Вообще, надо сказать, Азия «пахнет Россией» больше, чем какой-либо другой континент. И неудачи европейцев и американцев в Азии объясняются не марксизмом, который не может иметь никакого влияния на народы Азии, не коммунизмом, которого никто в глаза не видал, и даже не бедностью азиатских стран (Америка более всех могла бы им помочь), а недостатком «мировой отзывчивости» в психике американцев. Закрыта еще их душа от других народов. И слишком они переносят свою Оклахому во все места мира, слишком связаны еще своим специфическим стилем и великодержавной провинциальностью своих европейских отцов.

Не будучи гениями в области познания психологии других народов, американцы все же поступили гениально, оставив японцам их императора Хирохито, несмотря на все протесты ближайшего к Японии ее северо-западного соседа. На некоторое время, правда, был поставлен над японцами некий более высокий император. И престиж Макартура до сих пор в Японии велик. Теперь этого более сильного императора больше нет, и Хирохито остался единственным, что, конечно, является для Японии наиболее приятной формой правления. Но тень власти некоего высшего гражданского порядка осталась, и в образе новой конституции, и еще в некоторых других образах.

В Японии, как во всякой побежденной стране, есть множество намечающихся идей и неясных желаний. Пребывание императора на месте

(как царицы на улье) предохранило страну от потерянности и анархии. Ложно-божественное сияние императора справедливо померкло и теперь ничто не препятствует японцам верить в истину Сына Божия и Сына Человеческого, молиться Небесному Отцу всех народов людей.

Главное, что хотелось бы подчеркнуть, это раскрепощение японского сознания от языческого мифа. Процесс такого раскрепощения углубляется. Страна освобождается – для новой веры... Будущее покажет, если эта вера будет верой в Единого Истинного Бога и Им искупленного, исцеляемого от зла человека.

Поражение Японии, крушение ее военно-политических мечтаний и чингисхановских планов, – стало для нее, как и для некоторых европейских стран, Божьим плугом. Плуг этот прошел по Японии. И не для того, конечно, чтобы на ней снова процвел запаханный военным поражением сорняк... Деятели истинного духа призваны вложить в жертвенный, серьезный, трудолюбивый, терпеливый и ангельски-послушный народ Японии не замутненное никакими человеческими расчетами Слово Господне.

В понедельник, 13 июля, в малом зимнем храме Токио открылся Собор Японской Православной Церкви. После благодарственного молебна его открыл покидающий страну Архиепископ Вениамин. Сказав свое прощальное слово, он передал мне председательствование. Я выразил, от имени Церкви, напутствие отъезжающему из Японии святителю, более 6-ти лет потрудившемуся на японской земле, и объявил Собору о возведении на Токийскую и Японскую кафедру Преосвященного Иринея, предложив ему занять председательское место. Члены Собора, стоя, единодушно приветствовали и отъезжающего, и нового архипастыря Японии.

IV

Путешествие мое в Корею началось, в сущности, уже за несколько дней до отлета туда. Это я почувствовал, когда в штабе ген. Кларка, главный священник в штабе Командующего войсками Дальнего Востока, полковник Вильсон, стал говорить в моем присутствии по радио телефону с Сеулом, и дал инструкцию о встрече моей там 15-го июля. После этого он сказал мне о необходимости надеть военную форму. Было неизбежным для меня подчинение этому общему правилу. В тот же день нас принял начальник штаба военных сил Дальнего Востока бригадный генерал Зиберт.

Отвечая на вопрос корреспондента военной газеты в штабе, о целях моего путешествия в Корею, я сказал, что направляюсь туда для того, чтоб передать благословение воинам, находящимся в Американской армии и в частях Объединенных Наций, а также имею задачу посетить Корейскую нашу Православную миссию, сильно пострадавшую во время войны, особенно – при нашествии северо-корейцев на Сеул.

В понедельник 13-го июля два священника штаба, подполковник Морс и подполковник Андерсон, возили меня полдня по учреждениям Токио, для выправления нужных документов, прививок, а также для получения военной формы... Вспомнилось мне, во время примерки этой зеленой одежды, как я ее, впервые, надел ровно 35 лет тому назад... Это было начало лета 1918 года, в Ростове на Дону. Если бы кто-нибудь тогда сказал мне, что через 35 лет я, будучи епископом Церкви и американцем, и находясь в Токио (совершенно фантастические тогда домыслы) надену эту же защитную форму, на том же самом фронте, – я бы счел такого человека лишенным всяких признаков умственного равновесия... Как жизнь человеческая возвышается не только над рационализмом, но и над умеренной фантазией.

В большом здании санитарной части армии мне делают сразу 4 прививки и устанавливается тип моей крови, ради переливания, в случае ранения. Спрашивают, кому дать знать, «в случае чего» (называю имя Митрополита Леонтия). В регистрационном отделе штаба мне дают два экземпляра небольшой, в целулоиде, военной карточки удостоверения личности, с фотографией. Очевидно предполагая мой вопрос, отчего мне дается два экземпляра, молодой офицер сочувственно улыбается: «Это в случае, если попадете к неприятелю, – один экземпляр вы дадите ему» ... Не думаю, чтобы в моем случае можно было бы осуществить подобную

«китайскую церемонию». Но на карточке сказано, без обиняков: неприятель обязан будет содержать меня соответственно моему чину – бригадного генерала U. S. Army; а на другой стороне удостоверения, под орлом, держащим в лапах своих молнию, было напечатано: SHANOVSKOY. Rt. Rev. JOHN Bishop of Russian Orthodox Greek Catholic Church of America...

Русское имя как-то оказалось вплетенным в корейскую эпопею – не только с одной северной стороны.

Итак, всё условлено. Завтра в среду, 15-го, в 4 часа утра, за мной должен заехать один из этих подполковников-священников и отвезти меня на аэродром.

15 июля

В 4 часа утра прибывает ко мне в гостиницу подполковник Андерсон. В военном моем мешке и в кожаной сумке лежит всё, что будет нужно в Корее. Одетый в американскую военную форму, выхожу я со священником Андерсоном к ожидающему нас автомобилю. Едем быстро на военный аэродром Течикава. Утро необычайное по легкости и свету. Запевают, свистят птицы. Рассвет легкий, радостный. Выехав из о громного, еще не проснувшегося, пустого города, мы пересекаем его зеленые предместья.

На аэродроме стоит целая серия глобмастеров, транспортов C-124, самых больших самолетов авиации. Один из них скоро отлетит в Корею. Священник Андерсон выполняет все формальности. Я стою тут же, как Садко, попавший на дно к морскому царю... Чувствую себя погруженным в некий новый мир, воочию вижу всю огромность и слаженность американской организации, – всё предусмотрено, всё точно, быстро и по-военному осуществляется, – нет специальной военной подчеркнутости, – словно военизирована, мобилизована обычная стандартная американская жизнь. Формальности на военном аэродроме при отлете из Японии в Корею похожи на формальности гражданских авиационных линий Америки. Взвешивается багаж (его не должно быть более 65 ф.), предъявляется штабная путевка, и покупается желающими (на особые деньги оккупационных войск) право на получение пакета с завтраком во время полета. Пьем чай в специальной армейской кафетерии. В зале ожидания сидят военные разных чинов и рангов; они смешаны тут, как братья и товарищи.

На аэродроме есть, впрочем, и специальная комната для высших чинов. Туда меня ведет, после чая, Андерсон, вероятно, чтобы я не забыл своего чина. Путевка моя, на которой поставлены три магические буквы: V.I.P.³ будет вызывать не раз, во время моего путешествия, самое

разительное действие со стороны всех, кто будет взглядывать на эти буквы. Должен сказать, что благодаря такому отношению со стороны генерала Кларка и его штаба, мое путешествие в Корею прошло «в большом стиле».

На автомобиле, в который я садился, появлялась генеральская звезда и я мог, за 4 дня моего странствия по Корее, увидеть всё, что я, ни при каких иных обстоятельствах, увидеть бы не мог. Ангелами-хранителями моими всегда были военные священники. По фронту я ездил с тремя священниками: штаба Сеульской Главной Квартиры, дивизионного и полкового. Кажется, впервые в истории Америки и ее армии представителю Православной Церкви было оказано подобное внимание.

Громкоговоритель вызывает отлетающих. Не спеша, большой группой, мы подходим к гиганту С-124. Он стоит, раскрыв свой огромный зев, в который мог бы войти танк. Священник Андерсон доводит меня до самолета. Ждем там несколько минут. Один из членов команды с бумагами в руках вызывает меня по имени и вводит меня в самолет, ведет по этому, буквально, сараю и предлагает занять место сзади, где нет этажей, а лишь по стенам внизу идут сидения спиной к борту. Самолет быстро наполняется военными (он вмещает 280 человек). Среди этого летающего караван-сарая грудой лежат мешки и высятся ящики с лекарствами. На некоторых надпись: человеческая кровь. Во всяких видах, она наполняет самолет...

Поднимаемся над Японией. Тяжелый глобмастер, гудя и трясясь, летит над ее заливами, берегами, зелеными островами; мы пересекаем перешеек и видим Корею, – она такая же гористая и зеленая, как и Япония; также обильно политая летними дождями. Но над ней еще больше облаков... Через три часа Глобмастер снижается в Тейгу. Остановки здесь полагается 40 минут. Но облака тяжелы, небо беспокойно, идет дождь, – нас предупреждают, что отлет может задержаться. Мы ожидаем в бараке терминала час, два. Рядом бомбоубежище без крыши, только лежат мешки с песком, и покрыта камуфляжной зеленой сеткой батарея зениток. Это глубокий тыл. Сюда уже теперь не залетают вражеские бомбовозы и редко тут появляются его турбинные самолеты.

Громкоговоритель объявляет, что полет С-124 на Сеул отменяется, – не благоприятна погода, а кстати и красные начали большое наступление. Есть возможность ехать на Сеул чрез горы ночным поездом. За мной на терминал приезжает автомобиль главного военного священника Тейгу и отвозит меня в город. Впервые вижу Корею вблизи: соломенные крыши; более узкие, чем в Японии, щелки человеческих глаз; широкополые,

соломенные, с высоким верхом шляпы, – свой дух, свой стиль и у этой страны... Видно, что всё живет и дышит вокруг армии и армией... Это впечатление не оставило меня и в Сеуле.

Армия всех народов – великое несчастье Кореи, но и большое ее благо, ее прямо-таки спасение, не только в плане военно-политическом, но и экономическом. Это один из парадоксов Корейской войны. Грандиозная ее машина кормит корейцев. Им не надо никуда вывозить свои несложные продукты – все страны покупают эти продукты в Корее и делятся всеми своими избытками... Закон равновесия, царящий в мире, подтверждается и тут. «Где умножается грех, там и преизобилует благодать» (облегчающая борьбу человека с грехом). Всё население Кореи питается армией. Корея мировой пенсионер.

Сию у главного военного священника Тейгу – полковника Эльстен. Его помощник, майор Вильсон, исполняющий обязанности священника и при лагере военнопленных северо-корейцев, телефонирует в Сеул, что я туда прибуду на следующий день утром – по железной дороге. Полковник Эльстен везет меня на обед в офицерское собрание. Среди офицеров, с которыми я там знакомлюсь, один полковник является военным корреспондентом сан-францисской газеты «Бюллетен Колл». Он только что вернулся из Панмунджома. Знает наш собор в Сан-Франциско.

Эльстен предлагает мне использовать время до отхода поезда, – поехать с ним на концерт только что приехавшего в Тейгу хора студентов богословов-пресвитерианцев Принстонского университета, под управлением композитора Давида Джонса. Едем на концерт. Пресвитерианская миссия, по численности и давности, стоит на первом месте среди христианских миссий Кореи. Огромная полузала, полуцерковь вмещает от 2 до 3000 человек. Корейцы сидят на полу, на соломенных циновках, сняв сапоги. Снятые сапоги размещаются пред входом в храм, в некоей специальной сапожной передней, напоминающей поле автомобилей около американского завода. Нас проводят к боковой скамейке впереди, и мне приходится снять свои военные, тяжелые сапоги из уважения к месту и обычаю. Их берет и куда-то прячет какой-то кореец.

Концерт начинается. Студенты поют хорошо; в программе есть и русская духовная музыка (вещи Чеснокова и Шведова). Между номерами происходят короткие выступления миссионерского характера: один из юношей несколько монотонным голосом (вероятно, повторяя уже не раз высказанную историю) говорит, как он обратился к вере в Бога и Христа Спасителя. Кореец, тоже студент и певец, переводит. Сидящие на полу корейцы внимательно слушают. Их видно это интересуется. Внимание у

корейцев я заметил большое и к пению и к миссионерским сообщениям, которые, впрочем, не всегда носили приличествующий церкви характер, но «на американский манер» пересыпались подчас детскими остротами, возбуждая в людях смех, и конечно, рассредоточивая их. Не всё, что допустимо в залах, допустимо в храмах. Особенно в храмах обращаемых ко Господу народов Азии.

Перед окончанием концерта директор хора Джонс неожиданно попросил нас, с полковником Эльстеном подняться на эстраду и представил корейцам. Он попросил меня благословить собрание, произнеся слова благословения по-русски и по-английски... И вот, в глубине Кореи, с эстрады миссионерского храма, стоя в военной форме, без сапог, пред тремя тысячами христиан-корейцев, я благословил их православным архиерейским благословением. Произнесенные по-славянски и по-английски, священные слова были сейчас же сказаны и по-корейски... Ситуация, конечно, была самая необычная, – как бы предельное преодоление всех форм и стилей мира... Но не должна ли всякая религиозная форма выдерживать такой экзамен полного отречения от самой себя, – во имя Христовой истины и Христова духа?

По окончании собрания нашлись мои сапоги, и мы поехали с Эльстеном на вокзал. Он взял мою путевку и выправил мне военный билет на спальное место в офицерском вагоне, и я возлег на нижней койке, довольно-таки утомленный, после своего первого корейского дня.

Поезд шел не быстро. Была возможность партизанских диверсий. В Сеул мы прибыли дождливым утром. На вокзале встретил меня военный священник штаба американских войск в Сеуле, майор Джонс, и с этого часа стал моим Виргилием и главным ангелом. Мы поехали в дом для гостей американского командования. Одноэтажный, расположенный в саду, он был, несомненно, предназначен для гостей, которым трудно расстаться со своими вашингтонскими удобствами. Большая комфортабельная спальня, душ и гостиная в моем распоряжении. О близости фронта напоминает лишь стража, обходящая сад, часовые у ворот, вышка с зениткой, и бомбоубежище в саду.

Выпив чаю, едем с визитом к коменданту города – американцу, и после в управление священников Армии, где главный священник фронта подробно знакомит меня с постановкой дела военных священников в армии Объединенных Наций. Узнаю я, что даже при абиссинской части есть свой священник, – конечно и у французов, бельгийцев, канадцев и других народов, пославших свои отряды в Корею, есть военные пастыри. Не мало приходится им трудиться, укреплять дух воинов... Как я узнал в

Корее, самые острые раны американскому солдату наносят из Америки. Долгое отсутствие мужа, даже защищающего отечество, там нередко служит предлогом для ухода от него жены. Не все американки терпеливы: не все понимают смысл брака, и верят в его таинство. И, получив такое ранящее, убивающее письмо, к кому может пойти на фронте солдат? От кого он может получить помощь? Лишь пастырь-друг может укрепить его душевные силы.

Едем с Джонсом в лагерь за реку Хан, где находится авиационная часть греческого батальона. Греческий священник, архимандрит Андрей, накануне встречал меня на аэродроме, когда мой самолет задержался в Тейгу. Теперь он тут. Знакомлюсь с ним и с другими греками. Оказывается, он член известного в Греции братства «Зои» и вполне представляет дух этого подлинного апостольского братства. Он в военной форме греческого капитана, – длинные волосы его подколоты сзади по греческому обычаю; черная борода, круглое, доброе лицо. Переводчиком является симпатичный молоденький американец-грек, духовный сын о. Финфиниса, нашего греческого соседа по Сан-Франциско... Около барака собирается команда православных греков. Мы молимся с ними, говорю им несколько слов, по-английски, которые переводятся по-гречески, и раздаю им крестики в благословение. Едем в военный госпиталь, имеющий вид лагеря. Обходим палаты. Благословляю там одного нашего православного американца. На следующий день, 17-го, предполагается отлет на фронт.

V

Сегодняшний день, кажется, самый заполненный в моем путешествии. В 7 часов утра за мной заехал мой добрый Виргилий, майор Джонс, и мы прибыли около восьми на ближайший аэродром Сеула. Через несколько минут нас пригласили занять места в двух миниатюрных самолетах, каждый лишь для одного пассажира. Прикрепили меня к первому из них ремнями. Джонса к другому. Спереди сели молодые офицеры-пилоты в затемненных очках. Мы выкатились на этих своих стрекозах к старту и почти без разбега – так мне показалось – поднялись в воздух, и буквально, как стрекозы, понеслись над Сеулом, потом над его зелеными предместьями, далее над хребтами ближайших зеленых гор, долинами, речушками, легкими облаками, проскальзывали меж горами... День выдался чудесный.

Я лечу впереди, Джонс чуть сзади, справа; чрез несколько времени оглядываюсь и вижу его слева, немного ниже. Пилот посматривает на небо, – нет ли гостей... Летим очень хорошо, самолет почти не чувствуется, – такой он маленький, со всех сторон остекленный. Просто словно по воздуху мы летим на своих крыльях. Через полчаса, два крутых поворота, и мы идем вниз, быстро садимся и рулим по небольшой дорожке к бараку, рядом с которым стоит примитивная деревянная вышка. От Сеула ближайшая передовая линия фронта отстоит на 26 миль, это максимум 10 минут полета; а мы летели целых тридцать, сделали не менее 80-ти миль; значит мы прилетели к центральному участку фронта.

Нас встретил священник бригады. Через несколько минут приехал священник дивизии. С ним и Джонсом, вчетвером, при шофере, милом рослом солдате калифорнийце-пасадинце, (он очень был доволен, узнав, что я бывал в Пасадине, и стал показывать мне карточку своей семьи) мы отправляемся все в одном джипе к линии греков. Греки только что приняли на себя удар красных китайцев, устояли, потеряли 6 человек убитыми, 19 человек ранеными. “The Greeks did a big job”, – говорит о них мой шофер-пасадинец. Рядом с ним мне ехать удобно, но трое моих спутников еле помещаются сзади на небольшом сиденьи джипа. Майор Джонс несколько полноват и бледен; он в зеленой кепке, как и я; два других, – крепкие и загорелые, в шлемах. Мы едем по извилистой и пыльной горной дороге. Это фронт. Ни одного человека из местного населения тут нет.

Подъезжаем к линии греков. Под горой, в зеленой лощинке, стоят их

палатки. Проезжаем чуть дальше и видим большой деревянный Крест, поставленный архим. Андреем, рядом со своей палаткой, имеющей вид афонской пустынножительской колибки... Вскоре приходит под командой адъютанта батальона воинская часть греков и становится пред крестом. Поверх своего военного одеяния я надеваю рясу, епитрахиль, поручи, малый омофор, и обращаюсь к солдатам со словом по-французски. Один из офицеров переводит мое слово на греческий язык. Молодой грек-американец, прихожанин о. Финфиниса из Сан-Франциско, переводит моим друзьям-священникам с греческого на английский.

Я призываю Божию крепость и милость на этих сынов православной Церкви, стоящих предо мной, и совершаю о них – и о всем мире – моление. Они пели по-гречески; я благословил каждого и каждому дал крестик и иконку Божьей Матери; они их приняли с благоговением.

После молебна воинская часть ушла, а офицеры остались на этом зеленом холмике под сенью большого креста. Мы сели на ящиках у сколоченного из таких же ящиков стола, и нам из палаток принесли чай, показавшийся особенно вкусным. Пили мы чай под пушечную канонаду; греки говорили, как пострадала их страна от коммунистов, пытавшихся ее захватить (у одного из сидевших офицеров были зверски убиты родители) ... Рассказали греки и о своих потерях на корейском фронте – десятки убитых и много раненых...

Отец Андрей был вызван в Пусан для погребения только что убитых воинов.

Теплая, хорошая была встреча с греками. Узнав, что, может быть, я заеду в Грецию на обратном пути, некоторые дали свои адреса, прося навестить их близких, рассказать то, что я видел... Я им сказал, что расскажу о встрече с ними их Первосвятителю Элладскому, Архиепископу Афинскому Спиридону. (И это я смог исполнить в Афинах. Архиепископ Спиридон принял меня на своей даче под Афинами и с огромным интересом выслушал мой рассказ о Корее и о своих чадах духовных – греках).

От греков джип наш поехал по линии фронта. Это была область знаменитого «треугольника», где особенно сильны были все время бои. Местность, в дикой своей красоте, была как на ладони. Мне показывали вершины известных по сводкам гор: Finger Ridge и другие. Мы были меж Chorwon'ом и Pijohgang'ом. Вдали мрачно возвышалась огромная гора Papasan. В облаках пыли, по дорогам и понтонным мостам, все время шли части, катились танки, джипы, вели свои земляные работы южнокорейцы. То там, то здесь открывались секторы разных народов Объединенных

Наций, участвующих в войне... Впечатление – огромной организации и накопленной силы. Ехать надо, держа расстояние не менее 200 ярдов, между машинами. Надпись у дороги предупредительно о том гласит: «Дорога этого района под наблюдением врага».

Мы заезжаем в полевой лазарет. Туда всё время привозят только что раненых людей, здесь им быстро делаются операции, вливается кровь. При нас привезли партию солдат с залитой кровью одеждой. Здесь, когда можно, вступают в дело вертолеты. Среди свеж привезенных раненых оказался православный грек, раненый в ногу. Я поясняю ему, двумя-тремя греческими словами – кто я такой, и обняв его, даю ему крестик. Он детски, радостно улыбается... В этом лазарете мы завтракаем, тут же, где-то около операционной.

Сестра, которую я только что видел, чрез дверь, в операционной, входит в комнату с повязанным ртом и, на ходу, сняв повязку, садится у стола. Лицо усталое и самозабвенное... А в палатках этого полевого лазарета, словно распятые на крестах, часто совершенно обнаженные, лежат, с искаженными страданием лицами юноши, белые, желтые, черные. Некоторые – без памяти, другие тяжело дышат... Те, кто в сознании, силится не кричать... Я подхожу к некоторым, глажу им головы, говорю: “God bless you” (Благослови вас Бог). Один крепкий, большой, лежит с только что отхваченной по колено ногой. Этот спокойнее других. Глажу и его и говорю ему: «Теперь вы поедете домой!» Силится улыбнуться глазами, подтверждая эту мысль... Для таких уже закончена война... Много страданий пришлось увидеть за этот день... Священник лазарета отпирает замок у входа в небольшую палатку, и молча предлагает мне сделать глубокий грудной вздох. Вхожу за ним в палатку, – там, покрытые с головой шинелями, лежат два тела. Священник приподнимает шинели. Лежат юноши солдаты – кореец и американец. У корейца следы только что сделанной трепанации. На выбритом, почти белом восковом черепе кровь. Два солдата: белый и желтый, но белизна и желтизна теперь смешались в один бледный, уже не человеческий цвет...

А вокруг палаток солнце, голубое небо, удивительная красота гор. Горы зеленые, пустынные, без жителей, только с воинами, притаившимися в их недрах... Над одной из вершин поднимается темный фонтан земли...

Под вечер, с фронтового аэродрома, простившись с милыми спутниками-священниками, полковым и дивизионным, мы с майором Джонсом улетаем уже на одном аэропланчике, немного большем, чем те, на которых мы прилетели. Впереди сидит пилот с помощником, далее мы с Джонсом, а сзади нас офицер с планкой на груди: Honour Gard (почетная

охрана).

Снова под нами бегут горы и долины. Но лишь около Сеула земля открывает свое человеческое дыхание: соломенные крыши корейских домов с вьющимся над ними дымком.

VI

Вечером того же дня было служение в храме православной нашей Сеульской Миссии... Имею только время принять душ (кажется, со времен России еще не был так засыпан дорожной пылью), и еду, с неизменным Виргилием – Джонсом, в Миссию. Там постепенно собираются корейцы ... Приходят дети; один молодой кореец-солдат в форме объясняет мне, что он “new believer” – новообращенный, крещенный о. Андреем. Является русский американец, солдат из бывших Ди Пи, живший в Лос Анжелосе. Приходят молодые и пожилые корейцы. Всего собирается человек 40. Мы надеваем рясы, облачаемся и служим акафист по-славянски и по-гречески... Молимся за корейский народ и за все народы мира, – и за это малое стадо православное, чудом сохранившееся среди полуразрушенного города, его полуразбитой миссии... Говорю им слово, которое переводит на корейский язык пожилой кореец, староста, бывший переводчик русской дипломатической миссии в Сеуле. Он прилично владеет русским языком. Говорю я на тему: «Не бойся малое стадо, ибо Отец благоволил дать тебе Царство». Раздаю корейцами крестики, иконки, и приглашаю придти завтра, для получения подарков. А на следующее утро раздаю им пакеты КЭР, приобретенные накануне в Сеульском отделении этой организации.

Сеул город необыкновенный. В 26-ти милях от него фронт, а он, 700.000-й город живет своей, не думающей о завтрашнем дне, жизнью. Как «птицы небесные», нечувствительны к завтрашнему своему дню корейцы. О спасении их зато печется Сингман Ри и Объединенные Нации благожелательствуют им. 4000 приютов известны священнику Джонсу в Сеуле... «Есть еще тысячи три», – говорит Джонс и предлагает посетить хоть один. Но меня задерживает в миссии собрание прихожан-корейцев. У нас с ними идет совещание о посвящении постоянного пастыря-корейца для них. Есть у них даже два кандидата, – одного помоложе можно было бы посвятить в диаконы... Просят корейцы и материальной помощи от Православной Церкви в Америке ... Надеюсь я, что помогут им православные люди Америки, утешат хоть малым чем этих верных детей Корейской Православной Церкви, пастырь которых мученически исчез на севере. Миссия Сеульская почти разрушена и число членов уменьшилось более, чем в 10 раз... Америка Православная может помочь этим корейцам. И это надо сделать.

Глубоко признателен я моим спутникам-священникам, как и всему командованию армией за их удивительную организацию и их высокое

американское сотрудничество. Где и что только нужно было, они быстро все делали, исполняли – послушные воле земной власти, но еще более, конечно, воле Того, Кто заповедал идти с человеком два поприща, если он попросит тебя пройти с ним одно.

Огромный самолет С-124 вновь открывает свой зев, но принимает он уже не розовых воинов Америки, а загорелых, темных воинов Кореи. Среди них и я, тоже потемневший за эти 4 дня. Мы летим час чрез горы Кореи. Следующий час плывем над морем. Потом начинаются острова, голубые заливы Японии и облака, все темнеющие облака... Небо над Японией свинцово. Тяжело дыша, пробивается гигант-самолет сквозь воздушные реки, извергающие свои смертоносные для страны потоки (около тысячи утонувших от наводнения людей было в этот день в Японии). Уже в темноте субботней мы останавливаемся, среди огней военного аэродрома Течикава. От самолета меня везут на автомобиле к зданию аэропорта. Там меня встречает подполковник и передает желтый конверт. Вскрываю его: там белый конверт, со штампом главнокомандующего, и – сердечное, личное письмо генерала Марка Кларка, выражающего, в конце, желание встретиться со мной в Токио.

В Токио я посетил американского посла Аллисона.

23-го июля я был принят Главным Командующим. Большое светлое здание его Главной Квартиры стоит среди большого сада, на холме, как бы отделенное от города, и этим холмом и этим садом. Здесь была раньше японская военная академия. Элегантные американские солдаты в касках и разных нашивках стоят у всех внешних входов. Внутри здания – присущая американским учреждениям большого стиля особого рода простота и деловитость. Поднимаемся по большой лестнице мимо двух витрин с выставленными в них всеми орденами Соединенных Штатов и, вероятно, также других стран. Сопровождает меня главный священник военных сил Дальнего Востока, полковник Вилсон, захвативший за мной в гостиницу.

Ждем минут 10 в приемной; за это время Вилсон знакомит меня с приходящими адъютантами и работниками канцелярии Главного Командующего. Приходит познакомиться единственная женщина, работающая в личном секретариате ген. Кларка. Она, оказывается, хорошо знает наш Свято-Троицкий собор в Сан-Франциско, была там ночью на Пасху с одной своей знакомой, православной болгаркой.

Адъютант просит нас к Главному Командующему. Проходим его личную канцелярию и входим в большой, светлый, очень хорошо обставленный кабинет. Навстречу идет высокий генерал с орлиной головой, загоревший. Я помню его с 1951 года, когда встретил его впервые на трибуне Union

Square в Сан-Франциско. Мы тогда познакомились. Помню, как по небу Сан-Франциско, над трибуной этой, пролетели тогда военные самолеты в форме креста, приветствуя всеамериканский съезд пастырей армии... За это время солнце Кореи успело дать ген. Кларку хороший загар. Радужно он просит меня сесть в кресло около его письменного стола, и минут 10–12 мы беседуем. Я рассказываю о своем путешествии на фронт и благодарю его за все оказанное мне с его стороны внимание и содействие, а в моем лице и всем православным русским американцам, представителем коих и Православной Церкви Америки я являюсь тут, на Дальнем Востоке.

Генерал Кларк, видимо, доволен этим сообщением. Он далее говорит: «Перемирие будет сейчас подписано, но войска свои мы сохраним в Корее... В это время особенно будет нужна армии духовная помощь ее пастырей».

Я прошу генерала принять на память православный молитвослов, с параллельным текстом на английском языке, изданный для православных солдат американской армии и молодежи... Мы прощаемся. «Господь да поможет Вам», говорю я генералу, и он отвечает мне, пожимая мою руку: «Господь да благословит Вас».

Примечания

¹ - Эту очень значительную религиозную и философскую тему поставила на своем ежегодном форуме в октябре 1951 г. одна из лучших газет Соединенных Штатов. Видные общественные деятели страны выступили на этом форуме. Но, из всех выступивших, один только президент йельского университета Гризвольд чуть приблизился к этой теме, – отнюдь не социальной, а философской и метафизической.

² - Привожу по памяти.

³ - Very Important Person.

Содержание

Странствия архиепископ Иоанн (Шаховской)	1
Путь на север	2
I	3
II	5
III	9
IV	13
V	17
Над Америкой	21
Над Азией	37
I	38
II	41
III	44
IV	47
V	53
VI	57
Примечания	60